

Стороны света

Алексей Варламов



Алексей Варламов
Стороны света (сборник)

«Никея»

2011

Варламов А. Н.

Стороны света (сборник) / А. Н. Варламов — «Никея», 2011

В книгу прозы Алексея Варламова вошли повести разных лет. При всем разнообразии мотивов, тем, сюжетов, отнесенности к нашему более далекому или недавнему прошлому – их героев объединяет ощущение неслучайности жизни, чувство пути и осознание Божьего промысла в каждой судьбе. Автор пишет о силе и хрупкости человеческой души, о страстях и борениях человеческого сердца, о молодости, нежности, любви...

© Варламов А. Н., 2011

© Никея, 2011

Содержание

ЗДРАВСТВУЙ, КНЯЗЬ!	5
1	5
2	8
3	11
4	14
5	17
6	20
7	23
8	27
9	30
10	32
11	36
12	39
13	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Алексей Николаевич Варламов

Стороны света. Повести и рассказы

ЗДРАВСТВУЙ, КНЯЗЬ!

Повесть

1

Свое редкое имя Саввушка получил по причудливому замыслу судьбы. Его мать жила в молодости в Белозерске и работала поварихой в школьной столовой. Была она столь же хороша собой, сколь и доверчива, к ней сваталось много парней, но замуж она не выходила, а потом вдруг уехала, не сказав никому ни слова, в Заполярье. Полгода спустя у нее родился сын. Чуть окрепнув, она снова встала к плите, но работать теперь пришлось больше прежнего, и несколько лет спустя никто бы не узнал красавицу Тасю в изможденной женщине, тяжело бредущей в глухую полярную ночь к дому.

– Уезжайте отсюда, мамаша, – говорили врачи, – климат тут неподходящий.

– Для ребеночка? – пугалась она.

– Да нет, для вас.

Она тотчас успокаивалась, потому как давно на себя рукой махнула, а Саввушка, слава Богу, рос здоровым и про отца своего ничего не спрашивал, точно с детства решив, что отца ему не положено.

Тася же его иногда вспоминала, вернее, не вспоминала, но снился он ей бесконечными ночами, когда сон тяжек и непробуден, снилось лето в окруженном земляными валами городе на берегу огромного озера, снились церкви, вблизи потрескавшиеся, но издали прекрасные, и высокий красивый мальчик ласково спрашивал ее в этих снах:

– Что же ты меня не нашла?

От слов его становилось ей так покойно и счастливо, что она просыпалась в слезах и тихо плакала, боясь разбудить сына:

– Тёмушка, – шептала, – Тёма.

Но Саввушка, едва слышав материнский плач, просыпался, первое время пугался и плакал, а потом привык, молча лежал и ждал, пока мать снова заснет. Бог знает, что он чувствовал в эту минуту, но когда позднее она попыталась про этого Тёму ему рассказать, слушать ее он не захотел. Так и осталась Тася со своими воспоминаниями одна.

А был сей неведомый Тёма московским студентом. В Белозерске оказался он на практике. Их привез туда статный белобородый старик по фамилии Барятин, поразивший Тасю в первый же день тем, что после обеда он подошел к ней и поцеловал ручку.

Студентов поселили на окраине городка в пустовавшей летом школе, и целыми днями они ходили за своим профессором от церкви к церкви: десяток девиц, одетых по столичной моде в вольные сарафаны, и один-единственный хлопчик с длинными как у барышни ресницами. Белозерская молодежь, ослепленная этим зрелищем и возмущенная тем, что все богатство принадлежит одному студенту, предприняла через несколько дней штурм школы. Девицы жили на втором этаже, и парни пролезли на первый, а потом стали ломиться в дверь, за которой стоял студент и сжимал дрожащими руками лопату.

Дверь не поддавалась, ходила ходуном, и нежные девичьи голоса шепотом умоляли:

– Тише, мальчики, тише. Графа разбудите.

Но подвыпившие мальчики вошли в раж.

Сквозь замочную скважину виднелись халаты и распущенные волосы, наконец дверь рухнула, и парни ломанулись в проем, как победившие пролетарии в институт благородных девиц. Студента отшвырнули, и неизвестно, чем бы все закончилось, если бы в ту же минуту в конце коридора в белой ночной рубашке, закрывавшей ему колени, с перекошенной волнистой бородой и шваброй в руках не появился бы сиятельный граф Барятин.

– Вон отсюда! – рявкнул он громовым голосом, и осаждавшие бросились врассыпную, а несчастный студизус так и остался посреди коридора с разбитой губой и синяком под левым глазом.

– Это кто ж вас так? – ахнула Тася на следующий день.

Он буркнул что-то нелюбезное, но Тася его с того раза заприметила и всякий раз старалась положить ему кусочек получше. Студент был худ, бледен и напоминал хоть и породистого, но весьма оголодавшего пса. К тому же одет он был необыкновенно неряшливо.

– Что же это за вами и не приглядит-то никто?

– А некому, – ухмыльнулся он.

– Так уж и некому. Вон барышень-то сколько.

Она с завистью смотрела на этих беспечных девиц и украдкой вздыхала, потому что сама когда-то мечтала в институте учиться, и учительница школьная ей советовала: поезжай, тебе надо учиться. Но из деревни как уедешь? А когда стали давать паспорта, уж все позабыла и застеснялась ехать позориться. И вышло все совсем не так, как в любимой в детстве сказке, – стала Тася обыкновенной поварихой.

Но Тёма ей тогда в душу запал, ждала она, что он с ней первый заговорит, но он то ли стеснялся, то ли внимания не обращал, и она первая спросила:

– А что это вы тут у нас все ходите, смотрите?

Спросила и осеклась: что он еще подумает, куда ты, дура, в науку лезешь? Поставили тебя щи варить, вот и вари, а дальше не твоего ума дело. Но студентик оживился и принялся рассказывать ей про древность, про раскол, про отцов преподобных и старцев.

– Вас бы с бабушкой моей познакомить, – вздохнула Тася, – она дак много таких бухтин знает.

– А не скучно вам тут одной? – спросил он вдруг, о чем-то задумавшись.

– Скучно, – ответила Тася и поглядела в его глаза, блестящие за ресницами.

– Вы приходите к нам, – пробормотал он смущенно, – граф вечерами истории разные рассказывает – заслушаешься.

Тася представила профессора в окружении бойких девиц, мотнула головой и, с сожалением улыбнувшись, так просто, чтоб не обидеть его отказом, сказала:

– Уж лучше вы к нам приходите.

– Я приду, – сказал он очень серьезно, – а когда?

Она покраснела, мигом вообразила, как это будет выглядеть, как надо будет сказать соседкам по комнате, чтобы те ушли, а они начнут допытываться что да как, и если и уйдут, то через пять минут станут заглядывать и просить иголку или утюг, пялиться на необычного гостя и хихикать, а на завтра об этом узнает все общежитие, – все это пронеслось в одну секунду в ее голове, и она весьма светски молвила:

– Может быть, погуляем лучше?

– Давай, – неожиданно обрадовался он.

В первый раз они гуляли довольно чопорно. Тася увела своего кавалера подальше от общежития на берег озера, где он с важностью, подражая учителю, рассказывал ей про древние валы и нестяжателей. Голос у него дрожал, Тася слушала рассеянно и помалкивала, а сердце, как в детстве, шептало: князь, князь! И плакать хотелось от счастья и от несчастья, прямо здесь разреветься дурище, но он и не догадывался о ее терзаниях, а все называл какие-то чудные

имена, каких и в деревне-то она никогда не слышала: Зосима, Савватий, Нил, Ферапонт, красивые, торжественные имена. Тогда и подумала она, что если когда-нибудь у нее родится сын, то назовет его таким именем. Потому что имя ведь не просто человеку дается – оно его охраняет, вырастет он умным, добрым, жизнь у него будет ладная да счастливая.

Вот они женские мысли: он еще ни сном ни духом не ведающий, а она уже все решила и даже имя придумала. И ведь не совестно – сладко было, пусть князь тешится, уж она-то потом натешится с сыном княжеским, исцелует его ручки-ножки, всего исцелует в жутком городе, где не то что церкви – деревья зеленого и света белого не увидишь.

Прогуляли они до утра, пока солнце на три березы не поднялось, и пошли спать: он до полудня, а она прилечь на пару часов и оттуда в жаркую кухню. Но весь следующий день, хоть и не выпалась, светилась так, что даже Барятин, на нее взглянув, подивился:

– Чтой-то вы, Настасья свет Васильевна, прекрасны нынче как лебедь белая?

Тася покраснела маковым цветом, а профессор, что ни говори, лет десять назад редко какая женщина перед ним устояла бы, только головой покачал и отошел.

На Тёму косились несолоно хлебнувшие белозерские парни – такого нахальства мало кто от него ожидал, на повариху – озадаченные еще более курсистки. Сколько ни колдовали они над единственным своим мужичком, он так недотрогой и оставался, одни у него книжки на уме, а тут – простая девчонка, повариха, им нос утерла! Но тем двоим не было ни до кого дела. И лето в тот год подгадало – мягкое выдалось, теплое, бродили они белыми ночами вдоль озера, и Тася сама его привлекла, женским сердцем угадав, что никого у него еще не было.

Да и сама будто в первый раз пошла. Только недолго их счастье длилось. Через неделю надо было ему уезжать, но эту неделю нагулялись, нацеловались они вволюшку, так что на всю жизнь ей хватило. Никого к себе Тася больше не подпустила.

С тех пор снился ей этот сон томительный, когда за окном вьюжная ночь или день, все одно тьма, горечь во рту и его укор:

– Что же ты мне ничего не написала?

А что бы она ему написала? Бросай, милый, все и приезжай? Или меня к себе бери? Нет уж, у него своя дорожка в жизни, а у нее своя.

Ему уму-разуму в университетах набираться, а ей до скончания века у плиты стоять. Пересеклись их пути однажды и разошлись. Но ребеночка, плод той любви, уничтожить – на это у нее рука никогда бы не поднялась, хотя поначалу и страшно было, как еще в общежитии посмотрят.

Однако смотреть на Тасю долго никто не стал. Как только живот чуть наметился, а глаза у коменданта зоркие по этой части были, выселили в два счета. Возвращаться домой Тася не захотела, и, скрыв, что беременна, а то бы не взяли, завербовалась в ту же осень в Воркуту, где обещали дать жилье и работу.

2

От отца Саввушка унаследовал потрясающей длины мохнатые ресницы, страсть к познанию и способность схватывать все на лету, а от матери – широкую крестьянскую кость и изумительное простодушие. В три года он выучился читать по складам, в четыре с половиной писать, знал наизусть кучу сказок и стихов и до слез доводил мать, когда звонко декламировал:

*В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.
Словно горькая вдовица,
Плачет, бьется, в ней царица;
И растет ребенок там
Не по дням, а по часам.*

Однако дальше он пошел в обычную воркутинскую школу, и по этой причине вундеркинда из него не получилось. Оттого, что учиться было слишком легко, учиться ему быстро надоело, и все свое отрочество Саввушка проболтался на улице, возвращаясь домой с синяками и ссадинами, угрюмый как волчонок. Матери он ничего не рассказывал, вечерами запирался у себя в комнате, меланхолично тренькал на гитаре и что-то писал в толстой тетради неразборчивым почерком.

Тасе же сын был единственным светом в окошке. Иной раз, прежде чем его побудить, она присаживалась возле кровати и только головой качала: кого она родила и что из этого чуда выйдет? А Саввушка и сам себя понять не мог.

Он жил наполовину в обыденном мире, а наполовину в каких-то фантазиях и грезах, душа его томилась и примирить два этих мира не могла. Он был отмечен той вечной, одновременно пагубной и спасительной для русского человека тягой к справедливости, из-за которой тот не помнит ни себя, ни близких людей, а идет до конца, лишь бы не пострадала справедливость.

Поначалу это проявлялось в том, что он совал свой нос, куда просят и не просят, лез во всевозможные драки и пытался рассудить враждующих, но вскоре жажда защитить всех сирых и убогих охватила в его сознании целый мир. Тринадцатилетний подросток, он физически страдал и плакал от того, что на другом конце света сажают в тюрьмы и убивают революционеров.

Бог знает, отчего русских мальчиков так волнуют именно революционеры, и непременно чужестранные, но у себя в комнате, где все нормальные подростки вешали фотографии Михаила Боярского или Олега Блохина, Саввушка повесил портрет справедливейшего на земле человека – бородатого красавца Че Гевары, сложившего буйную голову в боливийской сельве. Он любил его как отца и, думая о своем будущем, рисовавшемся ему туманно, но ярко, мечтал перенестись каким-нибудь чудесным образом в далекую страну, где умирали за свободу и справедливость лучшие люди на земле, и довершить вместе с ними то, чего не успел сделать не понятый тамошними мужиками героический партизан.

Воркутинская жизнь, где общество свободы и справедливости, как и повсюду в родной стране, было давно построено, наводила на него тоску. Саввушка жаждал борьбы, побегов из тюрем и перестрелок, он представлял себе в минуту наивысшего упоения, как его убьют в том месте и в ту минуту, когда на земле исчезнет последняя капля зла – пусть даже никто об этом

не узнает и осчастливленное человечество не поставит ему памятника. Да и к чему жить, если не с кем будет бороться?

Свои сокровенные мечты он, однако, тайл ото всех и, лишь однажды прослышав, что в Москве при одном секретном учреждении имеется специальная школа, которая готовит революционеров-интернационалистов, написал туда письмо с просьбой его зачислить. Сие учреждение получало, вероятно, немало подобных писем и оставляло их без ответа, но то ли все авторы так или иначе брались на заметку, то ли Саввушкино послание было составлено чересчур проникновенно, некоторое время спустя этому посланию было суждено сыграть свою роль в его судьбе.

А в остальном он был славным и добродушным малым, хоть все и почитали его немного чудаковатым.

Когда же минуло Савве пятнадцать лет, он вдруг обнаружил, что его сердце также способно страдать оттого, что приглянувшаяся ему хорошенькая, но весьма стервозная девица строит глазки не одному ему, но еще и доброй половине класса, и это мучает его больше, чем боль за все угнетенное человечество. То, что другие воспринимали как ничего не значащую мелочь и быстро утешались, он пережить не мог и однажды до смерти напугал мать, представ перед ней с перевязанными запястьями и синим лицом.

Тася чуть ли не на коленях вымолила у него обещание ни при каких обстоятельствах ничего подобного больше не делать, и, впервые в жизни тронутый истинным и близким страданием, Саввушка пообещал.

От несчастной любви его вылечили книги. Он читал запоем все подряд, что имелось в скудной городской библиотеке – разрозненные тома Бальзака, Тургенева и Лескова. Он любил романы, чем длинней они были, тем больше, переживал судьбы далеких, давно отживших свое героев еще острее, чем собственную судьбу. Грань между реальностью и сном, временем и пространством становилась в его сознании зыбкой, он пробовал сочинять что-то сам, но скоро убедился, что читать чужое интереснее, чем свое. Его голова была полна самых невообразимых и фантастических прожектов один другого нелепей и несбыточней, и к той поре, когда надо было решать, что же все-таки делать в этой жизни дальше, Саввушка огорошил мать, объявив ей о своем желании ехать учиться в Москву, в университет.

Для Таси это было ударом. Она, разумеется, не рассчитывала, что сын всю жизнь просидит подле нее, но представить, что разлука произойдет так скоро и так надолго, – это было выше ее сил. Она на все лады пробовала его уговорить отступить от этого безумного желания, но на сей раз Савва и слышать не захотел никаких возражений и увещаний.

Москва, высотное здание со шпилем и звездой – вот единственное место, где он будет учиться. Из многочисленных же факультетов означенного заведения он выбрал факультет словесности, поскольку приязнь к литературе стала в нем страстью и ей он желал посвятить жизнь.

Бедная мать была вынуждена смириться и не спать ночами, ломая голову, как помочь сыну – проблема всех родителей, чьи чада куда-то поступают. Но что могла сделать повариха из воркутинского кафе «Огни Заполярья»?

Тася имела весьма слабое представление об университете. Однако будучи, а точнее, к сорока годам превратившись в рассудочную женщину, хорошо понимала: хоть и писал когда-то самый человечный человек, будто бы кухарки должны управлять государством (фраза, которую так любили повторять, хорошенько пообедав в «Огнях», заезжие лекторы из общества «Знание»), университеты все же существуют не для кухаркиных детей.

Но, видно, заговорила в сыне папина кровь, и в самый раз теперь было бы этого папашу разыскать и сказать: «На, Тёмушка, любуйся, какого я тебе парня вырастила. Уж как мы жили, сказывать не буду, ты только помоги ему теперь. Твой черед пришел». И все-таки, хорошенько подумав, Тася от этой мысли отказалась. Даже если бы и удалось ей каким-то образом разыскать Тёму, неизвестно еще, захотел ли б он этого мальчика признать. Да и как отнесется к

этому сам Саввушка – если из-за какой-то шлюшки готов он вены себе резать? Нет, верно, не суждено им встретиться, пусть все идет как идет, а Бог даст им свидеться, то пусть Тёмушке сердце шепнет – узнает он его и так. Она лишь посоветовала сыну разыскать в университете профессора Барятина, ибо сердце доброй женщины подсказывало, что скорее забыл ее сладкий Тёма, но только не высокий, статный граф, целовавший некогда ручку белозерской поварихе. Ведь не за одни только вкусные обеды целовал – уж это Тася чувствовала наверняка.

3

Всякий намек на какую-либо помощь Савва отверг с присущей ему решительностью. Пусть другие ищут в жизни обходных путей, а он будет штурмовать ее в лоб. Он напорист, удачлив, умен, он именно таков, как и нужно в Москве. Разумеется, его там ждут не дождутся и, как только он появится, усадят на самое почетное место. И где ж было ему, бедолаге, знать, что видала Первопрестольная смельчаков похлеще да ломала их, как капризная барыня.

Он поехал, и этот город, где никогда прежде он не был, но о котором знал не меньше, чем его обитатели, из книг, поразил его. Здесь не было ничего похожего ни на «Чистый понедельник», ни на «Мастера», ни даже на модного в ту пору «Альтиста Данилова». По обеим сторонам широких улиц высились прижатые друг к другу угрюмые дома, мимо пронеслись бесчисленные автомобили, автобусы, троллейбусы – все звенело, шумело, извергало облака дыма и выхлопных газов. Всюду были толпы людей, невероятно торопливые и праздные одновременно. Непонятно было, что делают эти люди, работают ли они когда-нибудь, что их гонит и какова цель их постоянного движения.

Саввушка бродил растерянный, оглушенный, как потерявшая внезапно чутье собака. Все дразнило и раздражало его: девушки в коротких юбках, толстые нахальные бабы, стремительные мужички с газетами. Ему казалось, что все презирают его за нелепый провинциальный костюм и смешной портфель в руках. Было жарко, насыщенный испарениями дрожал и тек над троллейбусами знойный воздух, и Саввушка с трудом удерживался от того, чтобы в ту же минуту не броситься домой, навсегда забыв про этот страшный безликий город.

Однако он пересилил это малодушное желание и направился к Воробьевым горам, туда, где в далекой дымке виднелось на высоком берегу Москвы-реки здание со шпилем и звездой.

В ту же минуту, приблизившись к нему, Саввушка забыл обо всем и, восхищенный, замер. Это было именно то, чем он грезил. Темнозеленые ели, пруды, фонтаны, люди с какими-то необыкновенно одухотворенными лицами и посреди всего – устремленное ввысь, похожее на пирамиду, готический замок и храм, строение. Факультет словесности располагался, однако, не в этом, вблизи еще более великолепном строении, а по соседству, в сверкающем на солнце стеклянном параллелепипеде. Некоторое время юноша медлил, а потом вошел внутрь.

Поток абитуриентов уже схлынул, и в пустых аудиториях сидели принимавшие документы студентки. Одна из них взяла его аттестат, пробежала глазами, что-то хмыкнула и принялась объяснять про консультации и общежитие, но он слушал невнимательно – сердце так и билось в Саввушкиной груди и стучала в висках кровь.

– Послушайте, – сказала она насмешливо, – вы, кажется, ничего не поняли.

Саввушка поднял голову. На него смотрели с сочувствием и некоторой жалостью прекрасные серые глаза. Казалось, взгляд их говорил: «Ну куда же ты, дурачок?»

– ...моего совета, – донеслось до него снова из марева, – не теряй времени. Как пару схлопочешь или даже тройку, забирай документы и в пед. Там попроще, особенно мальчикам.

– Нет, – ответил он твердо. – Я только сюда поступать буду.

– Ну как знаешь. Ни пуха.

– Спасибо.

– Эх ты, – засмеялась она, – даже этого не знаешь. К черту посылать надо.

– Простите, девушка, – сказал Савва, задетый ее снисходительным тоном, – а вам случайно ничего не говорит такая фамилия – Барятин?

– Говорит, – ответила она осторожно, и выражение ее лица изменилось. – А что?

– Да нет, ничего, – ответил он неопределенно, – я просто знаю его немного.

– В таком случае я бы посоветовала тебе об этом помалкивать.

– Почему? – спросил он обескураженно.

– Потому что профессор Бярятин – это не тот человек, знакомство с которым тебе чем-то поможет. Скорее наоборот. К тому же он здесь давно не работает.

– Да я и не собирался ничего, – пробормотал Саввушка. – А как вас зовут?

– Вот поступишь, тогда и узнаешь. – Она снова засмеялась, и что-то очень милое промелькнуло в ее глазах.

Смутное предчувствие сжало Саввушкино сердце. Он в беспокойстве вышел на улицу и побрел наугад через парк. Теперь величавое здание университета вызывало у него не восхищение, а угнетало своей громадой, и он шел все дальше и дальше от него в сторону реки. Мысли его были путанны и печальны, он сам не мог понять, что с ним происходит и что именно так сильно на него подействовало, как вдруг парк оборвался и он увидел с высоты Воробьевых гор весь город, днем почти его раздавивший.

Падающее солнце отражалось в далеких кварталах за рекой, подсвечивало купола Новодевичьего монастыря, высотные здания, трубы, мосты и, сколько было видно глазу, до самого горизонта дома, дома, похожие отсюда на розовые и белые кубики, украшенные бисеринками стекла. Мимо шуршали, уносясь в сторону чудных особнячков за высокими желтыми заборами, «ЗИЛы» и «чайки», проехала запоздалая свадьба, обнимались вольные парочки, улыбались прекрасноразумные иностранные туристы, фотографировали друг друга на фоне азиатской для них столицы и опять залезали в свои яркие автобусы под взглядами неброско одетых мужчин.

Саввушка глядел на все это с жадностью своих молодых и сильных семнадцати лет, не отрываясь и не трогаясь с места, как зачарованный, покуда в городе не зажглись огни и он засветился во мгле как в чаше. Чудная дрожь пробежала по Саввушкиному телу. Душу охватило волнение, и он почувствовал невыносимо острое желание, более сильное, чем все его прежние мечты о далеких странах, победить этот город, заставить его признать себя и впустить как равного.

Но для этого требовалось сдать экзамены, опередив неизмеримо лучше, чем он, подготовленных, натасканных репетиторами и подстрахованных нужными связями абитуриентов, которых и без того наплыло в тот год больше обычного.

Это ему почти удалось. Он блестяще сдал три первых экзамена, но на последнем, по языку, ему поставили тройку за дурной прононс и до проходного балла он не дотянул, точь-в-точь как Иванушка-дурачок на Коньке-горбунке до заветного окошка, где сидела сероглазая царевна из приемной комиссии. Но ни второй, ни третьей попытки у него не было.

В тот же вечер он с горя надрался вместе с соседями по комнате. Им тоже ничего не светило, но они и не огорчались. Это были веселые, беззаботные люди, приехавшие сдавать экзамены не для того, чтобы поступить, а чтобы месяц пожить в свое удовольствие в Москве и погулять с абитуриентками. Они проделывали это не первый год, хорошо знали друг друга и наперебой утешали удрученного, наивного воркутинца:

– Сюда все равно просто так поступить нельзя. Или папа у тебя министр, или тыщу за каждый экзамен плати.

Но Саввушка их не слушал: насчет взяток он не верил, это был все-таки университет, а что касается папы, как известно, это обстоятельство он игнорировал.

Его молодому самолюбию был нанесен, однако, сокрушительный удар, оправиться от которого он был не в силах. Было слишком очевидно, что эту последнюю тройку ему именно для того и поставили, чтобы он не поступил. Но за что? Что сделал он дурного той женщине? Мир явил ему несправедливость во всем своем безобразии, к тому же в том месте, где меньше всего он был готов эту несправедливость увидеть, и смириться с этим Саввушкина душа не могла.

Был поздний августовский вечер, за окном общаги горели огни непобежденного города, которому было, оказывается, все равно, останется в нем мальчик из Заполярья с редкостным именем Савватий или уедет, честно это или нет – кому какое дело? Пора было собирать вещи.

4

А в этот самый час Артем Михайлович Смородин сидел в своем кабинете на двенадцатом этаже большого стеклянного здания, смотревшего фасадом на город и торцом на цирк. Это здание было спроектировано и построено как гостиница, но потом с гостиницей решили повременить и вместо нее открыли учебный корпус. В ресторане разместили библиотеку, номера переделали под аудитории, поделив их перегородками, но сколько постоялый двор ни перекраивай, двором он и останется, и само собой это скверное здание гуманитарных факультетов, в просторечии именуемое гумном, ни в какое сравнение не могло идти с тем подлинным университетом на Моховой, где когда-то учился Тёма. Прямо под корпусом проходил тоннель метро, и Артема Михайловича вечно раздражало позвякивание стекол в книжном шкафу. Нет, решительно все было не то – ни стены, ни дух, ни люди. Все измельчало и выродилось, ушли или были изгнаны люди, являвшие собой гордость просторных аудиторий старого здания, и Тёме было безумно этого жаль. А больше всего он жалел, что среди изгнанников оказался его учитель, и происшедшая между ними двадцать лет назад размолвка о сю пору тяжелым камнем лежала на Тёмином сердце.

Граф, граф, из породы динозавров ученый муж, каких еще в те времена было по пальцам перечесть. Отвернулся учитель от самого одаренного своего ученика, и кто теперь разберет, почему так вышло. Ведь не виноват же был Тёма, что не захотел следовать обычной дорожкой барятинских учеников, работавших кто в провинциальных музеях и библиотеках, а кто и просто в школах, но у кого поднимется рука его в этом упрекнуть и не сам ли профессор тому виной?

Да, на его лекциях по древнерусской словесности стояли в проходах, каждое его слово записывалось на магнитофон, ему аплодировали и дарили цветы, его советы ценились и по ним одним можно было написать диссертацию, что многие и делали. Однако на факультете Барятина не любили, не прощали ему независимости и ума, и, хотя открыто выступать против него никто не решался, отыгрывались, как это водится, на учениках.

Так получалось, что они годами не могли защититься, найти приличную работу, издать книгу или статью – всякий раз находились обстоятельства, тому препятствующие, а Барятин палец о палец не ударял, чтобы помочь. Он был, похоже, даже рад, что к нему идут немногие, но самые бескорыстные, кому был дорог высокий дух науки и кто ради этого был готов терпеть любые лишения. Из таких людей и состоял знаменитый семинар профессора Барятина, там провел свои лучшие годы Тёма Смородин, влюбленный в учителя и безмерно счастливый тем, что учитель видит и ценит его любовь и выделяет среди других.

Но страшная мысль, что пройдут еще три года, два, год, все кончится, его отправят в захолустный город Н. спиваться на должности младшего научного сотрудника энского краеведческого музея без какой-либо надежды оттуда выбраться, не давала Тёме покоя. Ведь не для этого же в самом деле он учился в университете.

За спиной у Тёмы никого не было, он всего добивался в жизни сам, без чьей-либо помощи поступил и теперь сам был намерен обустроить свою судьбу.

А потому, когда год спустя после того белозерского лета Тёме предложили вступить в партию – предложили, он не просил! – Тёма согласился, и с того момента, или так просто совпало, этого Артем Михайлович не знал и по сей день, – в его отношениях с Барятиным что-то разладилось.

Граф, никогда ни во что не вмешивавшийся, подчеркнуто лояльный и ко всем доброжелательный, всей душой уходящий в прежнюю жизнь, живущий как барин в громадной квартире на Пречистенке и посещавший каждое воскресенье храм Ильи Обыденного, никого никогда не осуждавший, за что злые языки и горячие головы звали его страусом, вовсе даже не диссидент-

ствующий и не инакомыслящий, благородный граф, который всем все прощал, на экзаменах ниже четверки не ставил, разрешал списывать и за любой ответ говорил «спасибо», но так, что люди уходили от него пристыженные или просветленные, – этот самый человек Тёму осудил. Не за то, что он в партию вступил, казалось, Барятин слова-то такого не знал, а за то, обронил он сухо, что вы, оказывается, способны поступить не по совести.

Не по совести? Тогда впервые в Тёминой душе поднялась настоящая злость и обида. Он мог бы много на это «не по совести» возразить. Сказать, хорошо вам, ваше сиятельство, быть независимым с вашими регалиями, с вашей биографией и связями в научном мире, с вашим происхождением, наконец. Хорошо вам вести себя как вздумается, ручки дамам целовать, с Пасхой всех поздравлять, вы полжизни за границей прожили и теперь живете в любезном Отечестве нашем навроде иностранца: что другим нельзя, то вам можно.

А мы-то как? Вы ведь не пойдете за меня просить, если что случится, хоть и знаете, как они поступают с теми, кто от таких предложений отказывается. Вы, Алексей Константинович, изобразите на вашем лице глубокое сожаление и в утешение скажете что-нибудь душеспасительное о смирении, о пользе жизненного опыта и о прочих добродетелях. Вы найдете, что сказать. А то, что нас, как щенков, отсюда выкидывают и всем плевать, как мы после этого храма, после альма-матехи перебиваемся, а вы разве что раз в полгода в барские хоромы на чай к себе позовете и о народном образовании порассуждаете – этого вы знать не хотите!

Но Тёма смолчал. Он умел быть сдержанным, когда нужно, и это молчание, похоже, не понравилось Барятину еще больше. Однако на защите старик повел себя, по обыкновению, в высшей степени благородно и аттестовал Тёмин труд с наилучшей стороны. Тёму взяли в аспирантуру, но уже к другому руководителю, знавшему примерно столько же, сколько знал его новый подопечный в начале третьего курса. И как бы счастливо ни складывалась дальше его судьба, он чувствовал необъяснимую досаду при мыслях о Барятине, и в иные минуты чай в пречистенской квартире, от которой он был теперь отлучен, казался ему важнее собственных успехов.

Успехи, слава Богу, были. У Барятина он научился самому главному – работать самостоятельно по источникам, находить и обрабатывать материал – и вскоре с блеском защитился. А в это самое время неуступчивый граф, не то-таки подписавший какое-то письмо, не то, наоборот, отказавшийся подписать, вылетел из университета, хотя сведущие люди уверяли, что не стал бы Барятин ни из-за каких писем уходить – дело тут явно в другом, а письмо только повод. Но так или иначе, курс лекций по древней словесности, который читал профессор много лет, было предложено читать Тёме.

И вот тут послушный, благонадежный Артем Михайлович выкинул фортель. Он отказался. Мало того, он в самой категоричной и недвусмысленной форме заявил, что, конечно, не может согласиться с опрометчивым поступком Барятина, но, во-первых, следует иметь в виду, что Алексей Константинович – человек совершенно иного склада и он имеет право, выстраданное им право, на собственную точку зрения, а во-вторых, и это более важное соображение, такими людьми разбрасываться нельзя, даже если нам они совершенно не нравятся. Так что он, Тёма, против увольнения Барятина и читать его курс не станет.

Это выступление произвело на славившемся покорностью факультете эффект разорвавшейся бомбы. К Артему Михайловичу подходили знакомые и незнакомые люди, восхищались его поступком, жали руку, и из безвестного преподавателя он в одночасье превратился в заметную фигуру. Кое-кто, правда, поговаривал, что с Тёминой стороны – это был просто хорошо продуманный шаг. Понимая, что конкурировать с графом ему будет не под силу, Смородин нашел красивый предлог для отказа. Однако, если и принять во внимание эту малоправдоподобную ввиду безусловного ума и честолюбия Тёмы версию, следовало признать, что слишком опасен был этот предлог и одному Богу известно, какие он мог повлечь за собой последствия.

Последствия оказались таковыми. Барятина, разумеется, не вернули, а молодой ученый неожиданно получил от бывшего учителя записку, в которой тот коротко просил коллегу взять вышеозначенный курс, но приглашения на очередной и последующие чаепития Тёма так и не получил.

Зато он получил многое другое. Вместо ожидаемых неприятностей Смородин вдруг резко пошел в гору. Его выталкивало наверх, как пробку из воды. Он ездил то на картошку в подшефный колхоз «Ахманово», то на стажировку за границу, там и там пользовался успехом и очень быстро, без проволочек получил доцентскую ставку, которую другие ждали годами.

Некоторое время спустя ему дали возможность уйти в докторантуру, что тоже малообъяснимо было одними Тёмными способностями. Таким образом к тридцати пяти годам Артем Михайлович стал доктором наук, автором нескольких монографий, но самое поразительное ждало его впереди. Он вернулся на факультет в очень сложное время, когда из-за темных и глубинных интриг пал прежний декан и между различными группировками началась борьба за нового. Однако вместо ожидаемых кандидатов, седовласых мужей – прожженных интриганов от науки, на царствие посадили Тёму.

Что все это значило, понять никто не мог. На Артема Михайловича взирали с недоумением, и, поскольку такое же недоумение выражало и его лицо, факультетские кумушки рассудили, что, верней всего, могучие тузы сошлись на нем как на промежуточной фигуре и основные дела будут твориться за его спиной. Так оно было или не так, но теперь перед новоиспеченным деканом и по совместительству председателем приемной комиссии лежали списки студентов, зачисленных на первый курс. А завтра утром эти списки должны были висеть в вестибюле несостоявшегося отеля к безумной радости двухсот пятидесяти и отчаянной горести нескольких тысяч абитуриентов и их родни.

5

Если бы Артему Михайловичу показали в эту минуту человека, придумавшего вступительные экзамены, он приказал бы сослать его в «Ахманово» навечно и ни под каким видом оттуда не выпускать. Жаркий, душный месяц, который все порядочные люди проводят и он сам столько лет проводил на море, толпы мамаш, синие от умственных потуг дети – вот чистилище для тех, кто хочет попасть в университет.

Постаревший затри последние недели, как за три года, узнавший враз столько мерзкого, сколько не знал он за всю предыдущую жизнь, декан тупо глядел за окно, слушал, как брякают стекла в такт проходящим поездам, и страдал.

Причиной его глубокой меланхолии было разочарование в университете и шире – во всей человеческой натуре. Артем Михайлович никогда не питал иллюзий на сей счет. Он хорошо понимал, что человек – существо слабое и не всегда способное противостоять насилию и соблазнам. И если говорить о вступительных экзаменах, то бывают случаи, когда за того или иного абитуриента просят коллеги, родственники, звонят по телефону сверху, и тогда, проверяя сочинения, экзаменаторы берут синие ручки.

Это было печально, ибо нарушало чистоту корпоративного духа, но, по крайней мере, поддавалось объяснению. Однако никогда бы он не поверил, покуда не увидел сам, что солидные люди, читающие вдохновенные лекции о Дон Кихоте или князе Мышкине, способны брать взятки, как если бы работали не в университете, а в отделе по учету и распределению жилплощади. Тёма был искренне и глубоко этим оскорблен. При всем своем практицизме он был в отношении университета идеалистом, он любил его и считал, что университет – это островок, пусть относительной, свободы и независимости духа. Ну хотя бы настолько, насколько в этой стране это вообще возможно. Ведь есть же разница между тем, когда человека принуждают совершить гадость и когда он сам ищет, как бы ее совершить. Он допускал для порядочного человека первое, но исключал второе и теперь почувствовал себя институткой, отданной в бордель.

Возмущаться, протестовать, взывать к совести – все было бесполезно. Все равно были списки тех, кто в любом случае поступит, и тех, кто ни под каким видом поступить не должен, все равно репетиторы принимали экзамены у своих учеников, и это входило в плату за уроки. И Тёма уступил, он закрыл на все глаза, ни во что не вмешивался, будто не был ни деканом, ни председателем приемной комиссии. Он решил, что осенью уйдет в отставку, уйдет в чистую науку и гори все синим пламенем. Слава Богу, у него детей не было и хлопотать ему было не за кого. Однако умыть руки вполне Артему Михайловичу не удалось.

В последний день к нему пришел секретарь комиссии и сказал, что списки составлены не до конца. Оставался так называемый полупроходной балл – этот камень преткновений всех экзаменационных комиссий. Из нескольких десятков человек, не дотянувших полбалла, он должен был отобрать семерых.

– Но почему один я? – возмутился Смородин.

Секретарь пожал плечами и усмехнулся. Все было понятно: никто больше не хотел брать на себя эту ответственность. Кому ты станешь потом доказывать, почему этого взял, а того нет. Тут приходится рвать по живому, одно неверное движение и не то что из деканов, из университета вылетит. Это тебе не писульку какую-то там подписать. Угораздило же факультет словесности стать пансионом благородных девиц – тут такие интересы сшибаются, такие фамилии мелькают, что оторопь берет. А его, Тёму, бросили, как щенка, и никто ему не объяснит, как быть, чтобы не прослыть ни юдофилом, ни юдофобом, а вернее, понять, что теперь выгоднее, как проявить себя в меру либеральным – все ж университет, а не казарма, – но в то же время строгим и партийным.

Декан с безнадежным унынием глядел на примелькавшиеся фамилии, к семи часам насчет троих наконец позвонили, и, преодолевая отвращение к самому себе, Смородин внес их в заветный список, еще троих он вписал за какие-то необыкновенные характеристики и грамоты. Оставался один, но на этого одного сил решительно не было. Артем Михайлович выжидательно поглядывал на телефон, но никто не звонил, факультет опустел, в коридоре бродила недовольная уборщица, собирая шпаргалки, из открытого окна накатывало прохладными сумерками, сверкал и переливался огнями город за рекой, и усталый взгляд председателя вдруг наткнулся на странное имя – Савватий.

«Из попов, что ли?» – лениво подумал Тёма и взял личное дело. Родился в 1964 году в Воркуте, мать повар, отца нет. Кой черт только занес этого Савватия в Москву и как ухитрился он набрать столько баллов? Или, может быть, у него тетя в Госплане, а дядя в Минвузе? Но нет – тогда позвонили бы. И потом три пятерки и тройка напоследок. Нет, никого тут нет.

Тёма бросил личное дело Савватия в общую кипу и снова погрузился в мысли о низости человеческой природы. Но что-то словно зацепило его. Отца нет, мать повариха. А что, если взять этого Савватия? Не сравнивать достоинства прочих родителей – все равно на всех не угодишь, а взять вот такого чистенького. И в случае чего сказать: классы у нас пока еще никто не отменял, так что не будем забывать, товарищи, дети кухарок должны укреплять и пропагандировать словесность.

Артем Михайлович злорадно усмехнулся, представив, как щегольнет этой звонкой фразой, занес недостающую фамилию в список, снова звякнуло в кабинете стекло, кто-то громко засмеялся на улице, и на смену мелькнувшему удовлетворению опять пришла тоска. Он пробежал глазами фамилии двухсот пятидесяти будущих любителей отечественной и зарубежной словесности и поморщился. Ну, куда столько? Чьи-то сынки и дочки, ткни в каждого второго – блатной, бороды русских писателей обросли исследователями, как днища кораблей паразитами. Всяк кормится, всяк норовит написать какую-нибудь чушь, которую только такие же бездельники и бездари читают.

А наука хиреет, ни одного мало-мальски ценного исследователя, ни одного крупного имени нет, и это в университете с его старой школой, с его традициями. Во что превратили факультет, Боже мой! Вот горькая участь науки, ставшей забавой для власть имущей дряни. Закрывать нас надо, и давно бы закрыли, когда бы тут не работали жены министров, дети маршалов, зятья членов политбюро. А он над ними начальник. И смех и грех. К черту, все к черту, бежать отсюда немедленно, без оглядки! Но как бежать, если твое сердце любит это вольное слово – университет, если оно не может видеть, как он пропадает? Ведь все равно всеми правдами и неправдами сюда прорываются честные и талантливые люди, все равно какой-то шанс что-то сделать есть.

– Савватий, – пробормотал Артем Михайлович. Может, у него хоть что-то получится? По крайней мере, вот человек, про которого наверняка можно сказать, что поступил он честно и не потому, что его натащали на экзамены как собаку на утку, а потому, что голова у мальчика светлая. Только б ему впору не теперь, а лет двадцать назад сюда прийти. Кто его теперь здесь учить станет?

Смородин захлопнул ненавистную папку и поплелся домой. Была чудная летняя ночь, в городе пахло сыростью и опадающей листвой, в гостиной у Барятина сидели по традиции в эту ночь ученики и беседовали о важных и интересных вещах, и Тёма вдруг почувствовал какое-то невыразимое, безумное одиночество, какого не чувствовал уж много лет.

Что-то странное мучило его в эту минуту, и на этом фоне мелочными и глупыми казались мысли и о факультете, и о вступительных экзаменах, хотелось не то выпить, не то куда-то уехать, и наперед зная, что все равно не заснет, Артем Михайлович долго брел вдоль набережной Москвы-реки в сторону вокзала, подолгу останавливался и глядел на мерцавшую воду, а перед глазами вставала позабытая картина городка на берегу озера, светлая ночь и пряный

запах цветов. Он не помнил ни названия этого городка, ни когда это было, но мелькнувшее воспоминание согрело его и утешило.

В ту же минуту усталой женщине в далеком полярном городе, где уже наступила осень, приснился высокий, красивый, как Лель, мальчик.

– Не тревожься, мой ангел, – шепнул он, – я для него все сделал.

Тася проснулась и заплакала, теперь уже не боясь никого потревожить, а утром ей позвонил Саввушка и растерянным голосом сказал, что он, кажется, поступил.

6

Возможно, Артем Михайлович и не ошибался насчет того плачевного состояния, в коем пребывал в эту пору факультет словесности, но Саввушку университет не разочаровал. Ибо в конце концов университет есть нечто большее, чем лекции, и молодой ум всегда найдет в нем достаточно пищи.

Поначалу юноша кинулся со всем своим простодушием и энтузиазмом ходить на занятия, записывал все дословно и не мог до конца поверить, как это его угораздило сюда попасть, когда, казалось, все было кончено. Он ловил на себе косые взгляды иных преподавателей, без тени смущения рассказывал им про добрую свою матушку, нисколько не озадаченный, с чего бы это преподавательница по английскому языку, та самая, что чуть не преградила ему путь в храм науки, смотрит теперь как на восставшего из гроба и интересуется его родительницей – уж не столоваться ль она решила в «Огнях Заполярья»? Но очень скоро и лекции, и семинары, кроме двух-трех, показались ему скучнее школьных уроков, и для Саввушки начался другой университет – попойки, похмелья и хриплые яростные споры в прокуренных комнатах общежития.

Славное это было местечко – общага! Построенное в форме креста недоучившимся модернистом, сверху донизу населенное клопами и тараканами, скольких выпестовало оно людей! Непризнанных гениев из сибирских городов и признанных бездарей из столиц союзных республик, страдальцев, стукачей, любителей футбола или любителей балета, нахлебников из стран социалистического лагеря и третьего мира. Там месяцами не ходили на занятия, но за неделю до сессии вдруг резко спохватывались, и пустовавшие семестр аудитории заполнялись веселым гулом. Там сессия растягивалась на весь следующий семестр, стараясь угодить надзиравшим за молодыми умами преподавателям общественных наук, Ленина звали не иначе как Владимир Ильич, а отвечая на простейший вопрос «Выготского читали?», с достоинством отвечивали: «Готского? Конечно, читал!»

Там бедствовали, тащили хвосты, подрабатывали грузчиками и уборщицами, там жили нелегально давно отчисленные, и все они, дворники и отличники, именные стипендиаты и начинающие алкоголики, комсомольские активисты и просто люди с ужасом думали, что однажды вся эта лафа кончится. От лучших в мире театров и пивных придется возвращаться в свои Ждановы, Мурмански, Петропавловски камчатские и казахстанские, в десятки других больших и малых веселых державы, казавшиеся после Москвы чем-то невыносимо пошлым и убогим.

Но пока не пришла эта печальная пора – гуляй, студент, гуляй так, чтобы потом о тебе рассказывали легенды, сколько ты мог выпить, сколько ночей подряд не спать, смейся и презирай тех, кто живет иначе и хочет обмануть судьбу, – все равно никуда ты от нее не денешься, а вот вспомнить тебе будет не о чем. Да и тебя самого здесь забудут.

К концу первого семестра Саввушка чувствовал себя в общаге как рыба в воде. Он просыпался с хмельной головой в чужих комнатах, не сразу сообразив, где находится, а тут уж звали на Строителей за пивом. Затоварятся полными сумками, купят на закуску хлеба и кабачковой икры и – пить до утра. Спорить, читать друг другу свои и чужие стихи и с криком «Старик, ты – гений!» снова пить. Какие к черту препы с их идиотскими нравоучениями и угрозами, когда один Саввушкин сосед – непризнанный писатель по фамилии Одоевский из знаменитого дворянского рода, а другой – еще более непризнанный поэт из всемирно известной Купавны. Что там семинары, что там сессия и коллоквиум, когда тут до пяти утра решается вопрос, есть Бог или нет, кто гениальнее, Пушкин или Высоцкий, и где, наконец, достать еще в этот час выпить.

Вероятно, не привыкший к таким питейным и интеллектуальным нагрузкам организм юноши скоро надорвался бы, и от помрачения ума наш герой сам бы принялся писать стихи,

но в его судьбу опять вмешалось провидение, и чудесным образом Саввушка был спасен. Спасение это пришло глухой ночью, когда, с пьяных глаз перепутав двери, он сунулся в чужую комнату и обомлел. Там сидело за столом небесное создание с ангельски склонившейся над книгой головкой, и, еще не видя ее лица, Савва почувствовал, что ноги его приросли к полу и никакая сила их не оторвет. Аккуратная головка повернулась, на лице у создания появилась досада, но потом она сменилась удивлением, и Саввушка тотчас узнал сероглазую хозяйку.

– Так как вас зовут, сударыня? – спросил он хрипло.

– Неужели поступил?

Мигом выветрился из головы хмель. Саввушка сидел на краю стула, пил чай с малиновым вареньем и только сейчас в этой чистенькой комнатке с голубыми занавесками, напоминавшей обыкновенный дом, почувствовал, как соскучился за эти полгода по теплу и уюту. Как устал от одиночества, почти детского, нападавшего на него в Воркуте, когда он просыпался от слез матери и лежал в темноте, боясь выдать себя каким-то движением.

Он рассказывал что-то про себя, про вступительные экзамены и редкостное везение с проходным баллом, про поэта и прозаика и их шальную жизнь, девица качала головой, смеялась, хмурилась, подливала чаю и подкладывала варенья. Саввушка вспотел и хотел в туалет, но стойко терпел, не смея вспугнуть нечаянное счастье. Наконец ему было велено идти к себе, и, получив разрешение иногда заходить в гости, он отправился восвояси без вина пьяный. Сердцу его нужно было совсем немного, чтобы пропасть.

Ее звали Ольгой. Среди факультетских дев, делившихся на тех, кто до посинения сидит в библиотеке, томно вздыхая над стилистическими особенностями «Декамерона», и тех, кто весело и вольготно изучает их на практике, в библиотеку ни разу не заглянув, она была счастливым исключением. Однако Саввушкины друзья его выбор не одобрили. Это был редкий случай, когда поэт и прозаик, отложив свой вечный спор, сошлись во мнении и в один голос заявили, что она баба, конечно, видная, но себе на уме, а такие слишком себя ценят и ничего путного у тебя с ней не выйдет. А если и выйдет, добавил поэт, сам пожалеешь. Так что лучше, старик, оставь ее в покое – пусть ловит себе жениха, а на факе и без нее клевых герлов хватает. Однако Савва этим благоразумным советам не внял.

Он приходил теперь каждый вечер в угловую комнатку на десятом этаже в отутюженных брюках и начищенных ботинках, приносил цветы и шоколад, пока Ольга сама не запретила ему этого делать, разумно заметив, что деньги мать ему совсем для другого присылает. Саввушка слушался ее во всем. Он перетекал в руки своей прекрасной дамы как сыпучий песок и вскоре почувствовал себя одновременно Буратино и Пьеро в гостях у Мальвины.

А она стала требовать, чтобы он бросил загул ьную жизнь, взялся за ум и ходил если уж не на все лекции, то хотя бы на половину, остальное изучал по книгам и не терял понапрасну годы, какие никогда не повторятся, проверяла конспекты и с невыученными уроками, как школяра, до себя не допускала.

Но легко сказать – возьми за ум, когда у тебя в комнате до утра гуляют братья-писатели, сочинившие манифест свободного творчества, кроют последними словами продажные редакции толстых журналов, отвергающие их гениальные опусы, а на твои робкие замечания, что не худо бы прилечь на пару часов и сходить хотя бы завтра на занятия – экзамены ж на носу, – заявляют, что сессия – это все туфта, вылететь из универа еще труднее, чем в него попасть.

Саввушка разрывался между друзьями и Ольгой, не подарившей ему, однако, до сих пор ни единого поцелуя, и не знал, как быть дальше. Душа и тело его жаждали любви – стыдно сказать, он был еще девственником. Она это быстро раскусила и, когда Саввушка пытался выйти из повиновения, больно щелкала по носу. Все его попытки перенести их отношения из-за стола с чаем и малиновым вареньем в постель кончались ничем: Ольга насмешливо говорила, что не хочет брать грех на душу и соблазнять невинного мальчика.

Мальчик в тысячный раз проклинал себя за то, что в минуту откровения рассказал ей про воркутинскую кокетку – свою первую и единственную любовь – и признался тем самым в полном отсутствии у него любовного опыта, клялся сам себе, что больше уж точно ни одной женщине доверять не станет, но не нужна ему была никакая другая женщина.

В конце концов между ними установились довольно своеобразные отношения. Она пообещала, что за каждую посещенную лекцию будет его целовать и впрямь целовала, так что голова у него шла кругом, но стоило ему захотеть чего-то большего, как она легко отстранялась и покрасневший Саввушка оставался ни с чем. Эх, знать бы ему тогда, сколько еще это наказание продлится и сколько кровушки выпьет у него нижнетагильская Мальвина, может, и перестал бы он гладить брючки и к ней ходить, может, послушался бы советов друзей, которые дурного не пожелают, но люди его типа не склонны часто менять объекты любви. Отлученный от прелестного тела, но зато приобщенный ко всем культурным ценностям столицы, начиная Таганкой и кончая Большой Грузинской, Саввушка высох, почернел, в его облике появилось нечто романтическое, и не одна факультетская барышня на него заглядывалась, но он ни на кого не глядел и не думал сдаваться.

Друзья махнули на него рукой, принялись писать совместный эпический труд, надеясь одолеть твердолобого врага, соединив свои творческие усилия, но быстро разошлись во взглядах, учиться им окончательно надоело, и перед летней сессией оба забрали документы. Поэт решил перевестись поближе к прозе жизни в мясо-молочный институт, а прозаик подался егерем на Байкал. Саввушке оба завещали не скурвиться, почаще пить за их здоровье, а если все к черту надоест, то ехать на берега славного моря, где нет ни московской пыли, ни подлых баб.

В их отсутствие он сдал летнюю сессию куда лучше зимней, заработал стипендию и уйму поцелуев, после чего шальной, с разбитым сердцем отправился на побывку в Воркуту. Он чувствовал вину перед матушкой за то, что мало и скупо писал, был ласков и внимателен как никогда, рассказывал про Москву и свою жизнь в самых лучезарных тонах, хвалил университет и говорил, что люди там все основательные, ходят на лекции, а потом до полуночи сидят над книжками, и скромно давал понять, что он среди них не самый последний.

«Ну весь в отца», – вздохнула Тася. В душе она надеялась, что случилось чудо и Тёма с Саввушкой встретились друг с другом, она и так и эдак пыталась повернуть разговор, но Савва ее робких попыток не замечал.

Он был мысленно в Москве, тосковал по Мальвине, по шумной и бестолковой жизни и глядел на школьных друзей с сожалением. Странно было подумать, что кто-то может жить в этом захолустье и не замечать его ничтожества, когда на свете есть Москва, университет. Он рвался туда навстречу любви и сказочной жизни и был до того заносчив и невыносим, что обиженные одноклассники не выдержали и напоследок надавали своему бывшему предводителю и борцу за всемирную справедливость изрядных тумаков. «Ну и хрен с вами», – подумал он и, закрыв глаза, стал думать об Ольге.

7

Второй курс начался, однако, с того, что вместо счастливого свидания с возлюбленной Саввушку упекли в «Ахманово» убирать второй хлеб, а когда он вернулся в общагу, то его поселили в новую комнату, и с этого момента жизнь пошла кувырком.

Странная это была, ей-богу, комната! Здесь не было на стенах ни обнаженных красоток, ни солистов группы «Роллинг стоунз», ни футболистов голландского «Аякса», ни репродукций Рембрандта или портрета Льва Толстого на худой конец, а висели на стенах – без этого ни одна комната в общаге обойтись не могла, обойди их все сверху донизу – какие-то смурные бородатые люди. Такими же смурными были и новые Саввушкины соседи: один маленький, с редкой всклокоченной бородачкой ржавого цвета и горящими глазами, а другой, напротив, отчаянно юный, долговязый, картавый и идеально круглоголовый.

На Савву они посмотрели настороженно и выпить за знакомство отказались. Саввушка только пожал плечами – много чести – и повесил рядом с бородачами придурков собственного бородача: портрет Че Гевары в шахтерской каске, переснятый из книги в серии «Жизнь замечательных людей».

Придурки переглянулись.

– Хиппуешь? – строго спросил тщедушный.

Савва сдвинул брови: героический партизан был дорог ему как память о тревожной молодости.

– Гома, – спросил картавый, – а это тот самый тип, которого Кастго отпгавил геволуцию делать?

– Он сам поехал, – возмутился Савва.

– Ишь ты, – усмехнулся Рома и поглядел на нового жильца с любопытством. – Ты, товарищ, стало быть, революционер?

– Да, – ответил он со злостью, – революционер. А что, нельзя?

– Да нет, можно, – пожал Рома плечами. – Интересно мне только, как это ты ухитрился-то, здесь год проучась, остаться таким девственным?

– Так и ухитрился.

Однако Рома не отставал.

– Слушай, а в своей собственной стране тебе никогда не хотелось революцию сделать?

– Зачем? Ведь была уже, – глухо ответил Савва, чьи мысли после предыдущего вопроса ассоциативно переметнулись к Ольге, встретившей его после разлуки так нежно и хотя пресекавшей в очередной раз попытки продвинуться дальше поцелуев, но как будто нечто пообещавшей.

Рома усмехнулся, и они протолковали до утра. Но на сей раз не о Боге и не о Пушкине.

Непонятно, как только могла уместиться в этом тщедушном теле такая клокочущая энергия, однако отказать Роме в красноречии было нельзя.

Саввушка был ошеломлен, и даже Ольга на время покинула его мысли. Как старая боевая лошадь, он услышал клич пылкой юности: несправедливость! И встрепенулся. Несправедливость творилась здесь, на его родной земле, и не только в редакциях толстых журналов, как полагали его прежние друзья!

Саввушкины соседи, впрочем, ни диссидентами, ни, упаси Боже, правозащитниками не были, да и кто бы стал их тут терпеть? Они занимались тем, что передавали друг другу, хранили и по возможности размножали литературу, считавшуюся по тем временам крамольной. А кроме того, писали на стенах факультетов жуткие лозунги, критикующие коммунистическую партию, чья история сидела у всех студентов как кость в горле.

Эти лозунги приятно будоражили публику, рождали множество слухов, стирались оперотрядом, потом снова возникали, а однажды на глазах у изумленного народа на факультете появились двое ладных мужичков, выгнали всех, кто был в этот момент в курилке, чьи стены особенно часто украшались подобными воззваниями, и перефотографировали их. Ничем другим похвастаться было нельзя, но и этого казалось достаточным, чтоб у кого надо болела голова.

В результате Саввушка в очередной раз благополучно похерил учебу и погрузился в глубоководное чтение. Но теперь он читал иные книги, и эти книги его перепахали. Он читал Солженицына и Зиновьева, академика Сахарова, Шафаревича, Авторханова, читал одного якобы опального историка, чье имя и называть-то не хочется, читал также Оруэлла, воспоминания Надежды Мандельштам и переписку Цветаевой, прочел роман Пастернака и вообразил себя Живагой, а Ольгу – Ларисой, прочел великолепные «Окаянные дни» – да мало ли тогда ходило по рукам литературы, из которой после «Архипелага» самое сильное впечатление на него произвела «Хроника текущих событий», неизвестно кем и как создаваемая и повествующая этому миру, что в нем есть бесстрашие.

Саввушка долго думал, стоит ли ему посвящать в эти дела Ольгу, и, не удержавшись, все же рассказал, втайне рассчитывая, что это возвысит его в ее глазах и она перестанет держать его за мальчика. Но она на удивление восприняла все в штыки, куда серьезнее, чем все его прошлогодние попойки, и велела выкинуть эту дурь из головы, потому что:

– Все это, милый, я уже читала и знаю.

– Читала?! – воскликнул он. – Но как можно, прочтя эти книги, делать вид, будто бы ничего не происходит, ходить на семинары по истории КПСС и, преданно глядя этим сволочам в глаза, лепетать про диктатуру пролетариата и руководящую роль их ублюдочной партии?

– А вот так и можно, – отвечала она. – Слава Богу, ни Пушкина, ни Достоевского в спецхране не держат. И не фигу лезть на рожон – пупок надорвешь. Когда надо будет, все само собой рухнет. А у твоих дружков рожи, прости, отвратнейшие!

– Рожи тебе их не нравятся? – вскипел он. – Зато они не сидят как крысы по углам, а что-то делают. Уверяю тебя, что и Пушкин, и Достоевский тоже делали бы!

– Господи, – вздохнула она, – какое ж ты еще дитя! Ну, не сердись. Миленький, я тебя чем хочешь прошу, не связывайся ты с ними. Ну зачем тебе это надо?

Она стояла перед ним, безвольно опустив руки, и все дрожало в Саввушкиной груди. Он почувствовал, что в эту минуту смог бы добиться того, чего страстно желал почти год, казалось, глаза ее говорили: «Ну что же ты?» Она была совсем близко, но Саввушка отстранился:

– Чем бы это ни кончилось, я буду с ними.

– Ты еще салют отдай и крикни «всегда готов!». – Ее лицо мигом переменялось, и на нем снова появилась гримаса высокомерия. – Да пропади ты пропадом, но обещаю тебе, ты вляпаешься в какую-нибудь гнусную историю, а твои дружки выйдут сухими. А если у тебя есть время воду в ступе толочь и себя девать некуда, шел бы лучше на вокзал мешки разгружать, чем просаживаешь материнские деньги.

– Ну, это уж тебя не касается! – воскликнул он, уязвленный.

– Да живи ты как знаешь, но я тебя видеть больше не желаю.

– Как тебе будет угодно.

Так они мило поговорили, и Саввушка больше не захаживал в угловую комнатку на десятом этаже. Он просиживал теперь со своими новыми друзьями вечера на отделанных деревом кухнях в шикарнейших московских домах. Там пили виски, курили «Мальборо», и в облаках сладкого дыма витал дух инакомыслия, столь любезный томным хозяевам этих обитателей.

Они глухо обсуждали Афганистан, польскую смуту, слушали вражьи голоса, листали альбомы французской живописи, кто-то из гостей флиртовал, и среди этого великолепия и светскости Саввушка терялся, будто снова первый раз очутился в Москве. В этих домах были в

почете Кандинский и Сальвадор Дали, здесь велись необычайно умные и многозначительные разговоры, к которым Савва ну ни с какого бока подкатиться не мог и чувствовал себя совершенным идиотом. Он с тоской вспоминал свою милую провинциальную Ольгу, но сделать первый шаг не решался.

На кухнях все уверенней говорили про скорые перемены, Роман пел соловьем, и Саввушка диву давался, откуда в этом парне была такая прорва сообразительности и бесцеремонности. Он находил общий язык со всеми: и в этих домах, и в пивных. Делать они тем не менее ничего не делали, но смаковали новые анекдоты и почитали себя людьми среди совдеповского быдла. Было вообще непонятно, за что и против чего выступают эти люди – им-то чем плохо живется? Своей беззаботностью они напоминали Саввушке веселых ребят, сдававших вместе с ним вступительные экзамены, и, разочарованный, он уж стал думать, как бы ему потихонечку от них отпасть и найти настоящих людей, – но тут случилось событие, которое давно должно было случиться, о чем не раз уже говорили, но во что невозможно было поверить.

Восхитительный, добродушный вождь, о коем классик еще с провидческой силой сказал: вот умер, а если разобраться, то ничего, кроме бровей, у него не было, – этот самый орденоносный символ преставился. В больших и малых аудиториях в час дня по московскому времени прерывались все лекции и семинары, вставали почтить память ушедшего студенты и либерально мыслящая профессура, совсем рядом, на Воробьевых горах, сухо прогремели артиллерийские залпы, и город отозвался на них гудками тысяч автомобилей.

Саввушка стоял в этот момент возле окна и глядел прямо перед собой. Он не испытывал ни радости, ни печали, и этот, похожий на весенний, день, выстрелы над рекой и гудки, напоминавшие свист болельщиков в Лужниках, – все это казалось нереальным, точно из обыденной жизни они все разом перенеслись в область сновидения и жив остался тот, кого так неудачно уронили в яму подле Кремлевской стены.

Обернувшись, Саввушка увидел вдруг Ольгу. Она не отвернулась от него, как прежде, когда они сталкивались в коридоре, а посмотрела немного печально и отрешенно. Саввушка подошел к ней и, отгоняя охватившую его робость, шутливо поздравил подругу со смертью тирана, стал рассказывать, как гудели они накануне на радостях в одном славном месте, куда без паспорта и пройти-то было нельзя – все оцепили.

Но помириться в тот раз им было не суждено. Мальвина оборотила гневное, заплаканное лицо и процедила:

– Недоумки!

И с точно такой же гневной жалостью смотрела на студентов сухонькая преподавательница латыни, любительница старых большевиков и Валерия Катулла – как в воду глядела. Огромная страна гадала, кто станет ее следующим вождем и чем будет отмечено его царствие, а радио принесло тревожную вещь, мигом переименованную в анекдот: в стране свершилась сексуальная революция – к власти пришли органы.

Сразу же оказались закрытыми кухни на набережных Москвы-реки и улице Горького, затаились, боялись говорить даже в комнате, сняли со стен все портреты, включая героического партизана, а уже поползли слухи, один жутче другого, о массовых облавах, арестах, об усилении тюремного режима. Глушилась единственная форточка в свободный мир – вражий голос. Тогда-то и помянули покойничка: хоть и многих хороших людей он обидел, но такого безобразия при нем не было. А то ли еще будет?

Буквально за несколько дней их комната в общежитии превратилась в книжный склад. Несли все, кто мог. Люди, еще вчера отчаянно смелые и готовые на что угодно, прижали хвосты и не глядели друг другу в глаза. Роман хватался за голову и убеждал струсивших соратников, что более идиотского места, чем общежитие, для хранения литературы придумать нельзя и в их же собственных интересах держать лучше все покуда у себя, но им несли и несли.

Тогда было решено переправить все самое ценное в камеру хранения и держать там, покуда не сыщется более подходящее место. Книгами набили знаменитый портфель, с коим Саввушка намеревался когда-то завоевать столицу, и отвезли на Ярославский вокзал. Раз в три дня ездили менять ячейку и на всякий случай шифр, но вскоре случилось непредвиденное.

Однажды вечером с вокзала вернулся бледный дрожащий Дима и не своим голосом объявил, что камера не открывается.

– Не может быть! – воскликнул Рома.

– Запегта, я честно деггал, – грустно подтвердил Дима.

– А в прошлый раз кто клал? – спросил Саввушка.

– Я, – отозвался Рома.

– Ты, может быть, шкаф перепутал?

– Вряд ли, – произнес он задумчиво, – разве что одну цифру.

– Ну, если только одну, то это не беда. Ее и самим вычислить можно.

Они составили все возможные комбинации и поехали на вокзал.

Рома крутил ручку, Дима и Саввушка стояли на стреме, обливаясь потом, и всякий человек, приходивший класть или забирать вещи, казался им подозрительным. Все было как в кино: вот-вот выйдут могучие, угрюмые ребята в штатском и схватят нарушителей социалистической законности.

Однако все было тихо – только ячейка так и не отворилась.

– Значит, я перепутал не одну цифру, – заключил Рома, когда, подавленные, они вернулись в общагу.

– А может, хген с ним с погтфелем? Чего уж тепегь...

– Нет, – отозвался Рома еще более задумчиво, – не хрен. Мало того, что все пропадет, нас так или иначе вычислят. Не дураки же там сидят. Надо идти к дежурной.

– Ну так и пошли. Что же ты ганыие не сказал?

– Наивные вы люди. Ведь нас сперва перепишут со всеми нашими данными, а потом еще заставят подробную опись того, что в портфеле лежит, сделать. И где гарантия, что эта дежурная не вызовет милицию, если хоть одну строчку прочтет?

– Ладно, – сказал Савва, вставая, – давайте я, что ли, попробую.

Он налил себе водки, закусил ее головкой чеснока и отправился на вокзал. Там, дыша перегаром на толстую тетку в синем халате, стал плакаться, что он бедный студент, забыл портфель с конспектами, а их надо срочно сдавать. Тетка стояла неприступно и требовала паспорт – Саввушка напирал на то, что паспорт лежит на прописке, а без портфеля ему хана.

В конце концов, всласть наизмывавшись, тетка спросила:

– Какой номер ячейки-то?

Он ответил.

Тетка притихла и велела ему идти, сказав, что скоро придет. Но появилась она нескоро и, не глядя на него, открыла ячейку. Какое же разочарование его ждало! Ячейка была абсолютно пуста. Тетка выругалась, и, когда ошеломленный юноша стал подниматься по лестнице, его вдруг окликнул незнакомый голос. Саввушка поднял голову и увидел веснушчатого парня лет двадцати пяти. Парень поманил его пальцем, точно обещал показать что-то интересное, и Савва как загипнотизированный отправился за ним. Следы его на время затерялись, и печально звякнуло стекло в просторном кабинете на двенадцатом этаже гуманитарного корпуса.

8

Прошло почти полтора года с тех пор, как новый декан приступил к исполнению своих обязанностей, а Артема Михайловича было не узнать. Это был уже совсем не тот, напуганный вступительными экзаменами и собирающийся бежать в отставку человек. Еще доучивались студенты, которых декан возил на картошку, а Артем Михайлович отпустил бородку, научился мягко похихатывать, говорить некатегорично, но убедительно, и на факультете стало тихо. Так тихо, что был слышен только его голос, и опрометчиво считавшие его за пластилин в чьих-то руках люди с изумлением замерли, ожидая, что предпримет новое начальство.

Смерть легендарного вождя, миротворца и миролюбца произвела на Артема Михайловича отнюдь не то удручающее впечатление как на пугливых юнцов. Умненький Тёма почувствовал, что рухнула целая эпоха и жизнь станет иной. Он был убежден, что теперь на смену одряхлевшим вождям, министрам, директорам, ректорам и деканам придут новые люди, придет его, Тёмино, поколение, во многом более свободное и здравомыслящее, и это оно будет диктовать правила игры. А значит, он сможет сделать то, о чем мечтал с самого первого дня, когда впервые вошел в этот кабинет в качестве его хозяина, – сможет возродить факультет.

Это было то, ради чего он соглашался закрывать глаза на творившиеся вокруг гадости, идти на сделки и компромиссы, – факультет, его любимое детище, их требовал. Он знал, что изменить что-либо будет непросто, слишком многие люди заинтересованы в том, чтобы все шло по-прежнему, но Смородин был молод и напорист, а к тому же достаточно умен, чтобы в сутолоке чужих страстей держать нужное направление.

Да, знали бы они тогда, что за мысли сидят в Тёминой голове, сам Тёма не просидел бы в этом кабинете и часа. Но декан лавировал, делал никому не понятные маневры, какие-то кафедры сливал в одну, какие-то разъединял, вводил новые дисциплины, рассуждал о гуманизации образования и новых подходах и, предвосхищая своей странной политикой политику будущего вождя-реформатора, прибирал факультет к рукам.

Но что бы он ни делал, одна мысль неотступно его преследовала. Мысль о графе. Точно все, ради чего он тратил силы и нервы, забросил науку и часами дружески беседовал с отъявленными негодьями, делалось для того, чтобы добиться барятинского снисхождения и вернуть то время, когда они были вместе. Хотя теперь, став деканом и лучше поняв какие-то вещи, он мог бы многое сказать своему учителю.

«Ведь в том, что все развалено до такой степени, что с нами нигде, ни в мире, ни в собственной стране, ни даже в университете, не считаются, есть и ваша вина, ваше сиятельство. Это вы от всего отстранились и дали себя уволить, это вы не стали пачкать руки в здешней грязи, предоставив это занятие другим. А знаете, как такая позиция называется? Возлагать на других бремена тяжкие и неудобноносимые. Но я не осуждаю вас.

Первое, что я сделаю, едва стану на ноги, я приглашу вас. Я поставлю вопрос таким образом: либо перед вами извинятся и покорнейше попросят вернуться, либо – я уйду, и поверьте мне, они примут мои условия. Я опутаю их по рукам и ногам, я стану необходимым и незаменимым человеком, а потом, когда сделать со мной они уже ничего не смогут, я начну гнать их в шею и сажать на их места, на заведующих кафедрами, на ставки доцентов и профессоров – ваших учеников. Мы соберем их по всему свету, мы вытащим их из тех дыр, где они сидят, и создадим для них все условия, чтобы они могли достойно работать. Вы были неправы, граф, сейчас не время разбрасывать семена – слишком дурная почва. Сейчас надо объединяться во имя спасения духа. Вокруг нас ложь, беззаконие, вокруг нас все покупается и продается, произошло самое страшное, что могло произойти, и мы с вами как представители факультета словесности понимаем это лучше других – слово утратило свой божественный смысл, обесценилось и поэтому обесценилось все остальное. Но только понять этого никто не может – для

них вначале было не Слово, для них слова – это кубики, из которых можно построить все, что угодно.

Мы живем в эпоху фельетонизма, нас очень мало, но мы, горстка верных духу людей, мы создаем свою Касталию».

Тёма в возбуждении прошелся по кабинету. Его живые, юношеские глаза засверкали от возбуждения, но мысли работали четко и трезво. Касталия – поразившая его воображение страна гармонии и духа – вставала перед ним. Артем Михайлович тосковал по ней как по золотому веку и никогда не мог понять, почему все-таки недолюбливает эту книгу Барятин.

Поздний посетитель легонько постучался в дверь и, не дождавшись отклика погруженного в сладостные мечты декана, вошел в кабинет. Увидев его, Смородин помрачнел.

Вошедший был человеком Тёминых лет, весьма интеллигентной наружности, его открытое лицо смотрело дружелюбно и прямо, умные улыбочивые глаза были какого-то необыкновенного василькового цвета, и одной встречи с ним хватило, чтобы настроение мгновенно повысилось. Есть же люди, от которых тепло идет, как от печки. Но Тёме стало не тепло, а жарко.

Этот приятный во всех отношениях мужчина занимал на факультете словесности должность инженера, хотя и не вполне было понятно, по какой именно части он инженерил. Он присутствовал на всех ученых советах и совещаниях у декана, беседовал с отъезжающими за рубеж и из-за рубежа приезжающими, задавал веселые вопросы и давал весьма ценные советы. Иногда приносил на какую-нибудь кафедру бутылку коньяка и запросто распивал ее с лаборантами и молодыми аспирантами, считался повсюду своим человеком, но его подлинная работа стала известна Артему Михайловичу только после назначения на нынешнюю должность. И уж на что, как говорилось выше, Тёма был человеком выдержанным и ни минуты не обольщался насчет того, в какой стране живет, но тут и его покорило.

«Подожди, голуба, – подумал он мстительно, – придет время, ты у меня в первую очередь отсюда вылетишь. Никто из вас, сукиных детей, на пушечный выстрел сюда приблизиться не посмеет».

Инженер, как ему и полагалось, был человеком проницательным и однажды, глядя на декана безмятежными васильковыми глазами, принялся его увещевать.

– Артем Михалыч, дорогой мой, что же вы на меня все волком-то смотрите? Уж как я был рад, когда вас, молодого и энергичного, деканом назначили. Обеими руками вас поддерживал и буду поддерживать. Да поймите вы, пора оставить вам все эти интеллигентские комплексы. Не к лицу вам это, и я совсем не тот человек, за кого вы меня принимаете. У нас с вами общие цели, и я не меньше вашего заинтересован, чтоб факультет переменился. Я сам здесь учился, и мне, думаете, не обидно глядеть, во что его превратили. Да только ли факультет? – вздохнул он очень натурально.

«Сейчас закурит», – подумал Тёма.

Но инженер курить не стал.

– Вы правы, – продолжал он, – вы абсолютно правы: гнать надо поганой метлой всю эту нечисть, а на их место умных людей ставить. Но только без меня ничего у вас не получится. Сметут вас, голубчик. Сами ж видите, какие тут волки сидят. Они пока еще не понимают, что вы затеяли, а когда разберутся, места живого на вас не оставят. Вам бы меня держать в курсе ваших планов, и я бы, что знал полезное, рассказывал. И клянусь, ничуть бы вам не мешал – только помогал. Я ведь тоже, Артем Михайлович, считаю, – инженер усмехнулся и посмотрел на декана с такой обезоруживающей улыбкой, что у самого подозрительного человека на сердце бы отлегло, – что факультет, а не господ генералы должен решать, сколько будет дважды два. Я искренне говорю вам это.

– Благодарю, – сдержанно отозвался Тёма, – хотя и не вполне понимаю, что вы имеете в виду.

– Думаете, провоцирую я вас? – сказал инженер с горечью. – Эх, Артем Михайлович, до чего же трудно в этой стране умным людям друг с другом договориться. Оттого и стоим на месте.

Он ушел и к этому разговору больше не возвращался, а Смородин твердо решил, что ничего общего он с этим человеком никогда иметь не будет.

В декане как в истинном интеллигенте жило стойкое убеждение против сыского ведомства, а кроме того, хорошо усвоенный урок десятилетней давности, с которого началось его восхождение: если ты хочешь, чтобы с тобой считались, – умей показывать зубы.

Инженер все понял, он был по-прежнему любезен и добродушен, но Артему Михайловичу с некоторых пор стало казаться, что на его лице нет-нет да мелькнет беспокойство, и декан как мальчишка ликовал, понимая, что у непрошеного союзника земля под ногами горит ввиду отсутствия информации. А потому этот неожиданный визит Тёму встревожил: слишком уж молодцом держался сегодня его гость.

9

– Чем могу быть полезен? – сухо спросил Артем Михайлович, отмечая какой-либо намек на задушевную беседу.

– Сущие пустяки, – проговорил инженер. С его лица не сходила улыбка: покой и доброжелательство излучала она. – Прямо уж и не знаю, что делать с нашими хлопцами. Мало того, что стены все перепачкали, так один еще с книжками попался.

– С Набоковым? – спросил Тёма презрительно, припомнив, как во времена его юности с их факультета вышибли поклонника «Лолиты».

– Помилуйте, Артем Михалыч, – развел руками инженер, – стал бы я вас тогда беспокоить. Там дело хуже.

– Откуда же это хуже могло у него взяться?

– Ну, этого он говорить, разумеется, не хочет.

– Уж не хотите ли вы, чтобы я его об этом попросил? – спросил Тёма высокомерно.

– Да нет, – пробормотал инженер, склонив голову набок и присматриваясь к декану, как художник к обнаженной натурщице. – Просто жалко парня. Ведь что, сволочи, делают, втянули его по молодости, на порядочности играют, а у парня судьба ломается. И парень-то талантливый, вот оно что, – добавил он задумчиво.

«Ну и дрянной же ты мужик», – подумал Тёма, изумленный таким иезуитством.

– Артем Михалыч, – вздохнул инженер, словно прочтя его мысли, – да что же это с вами такое? Ну ничему не верит! Да поймите вы, я к вам как друг пришел. Что вы все злорадствуете-то на мой счет? Чего добиться хотите? Чтобы меня убрали отсюда? Ну уберут! И пришлют на мое место какого-нибудь идиота, который будет стучать на вас ежедневно и развращать стукачеством ваших сотрудников. Это у нас запросто делается! Не могу я для этого парня ничего сделать, понимаете, не могу! Вы вообще, кажется, имеете весьма неверное представление о моих целях и полномочиях. Я здесь только для того, чтобы наблюдать. А вот вы...

– Что я? – вскинулся декан возмущенно.

– Вы могли бы ему помочь.

– Это как же?

– Напишите поручительство, что хорошо знаете этого студента, просите за него. Укажите, что он перспективен, талантлив, гениален, – словом, защитите его как отец родной, да заодно объясните, чтоб глупостями не занимался.

– Но ведь я его не знаю, – возразил Тёма.

– Знаете, – заметил инженер равнодушно, – у него, видите ли, имя еще такое необычное – Савватий.

– Мне это ничего не говорит.

– Бросьте, Артем Михалыч, ну, ей-богу, скучно.

– Это вы бросьте. Вы забываетесь, кажется, с кем говорите.

– Ну хорошо, – сказал инженер насмешливо, – и вы, разумеется, станете утверждать, что взяли этого парня с полупроходным баллом, потому что у него, ну, например, подходящее социальное происхождение. Так?

– Это не ваша забота, – отрезал Смородин и встал.

Но инженер и не думал уходить.

– А кстати, как так получилось, что ему последнюю – тройку поставили? Недоглядели, Артем Михалыч?

– Идите вы знаете куда!

– Н-да, – проговорил инженер после некоторого молчания, – я вас, кажется, недооценил. Эдак вы, мил человек, далеко пойдете. Надо ж, глазом не моргнул. Да отчислят его, поймите вы, отчислят. А может быть, еще что похуже сделают.

– Вы сделаете, – сказал Тёма жестко.

– Да, мы, – согласился инженер, вздохнув, – злая баба Бабариха.

– Кто, кто?

– Это я так. – Инженер поднялся, но возмущенное и даже несколько спесивое выражение декана его насторожило. – Послушайте, вы что хотите сказать, вы, может, ничего не знаете?

– Чего еще я не знаю?

– И она вам ничего не написала? Просто отправила его сюда, и все?

– Да кто «она»? Что за идиотская манера загадками изъясняться?

– Боже мой, – пробормотал инженер, – как я сам об этом прежде не подумал? Да ведь вы с вашим характером, наоборот, все бы сделали, чтобы только он сюда ни под каким видом не поступил. Слушайте, но должны же вы были в таком случае хоть что-то почувствовать, как-то догадаться. Вы же смотрели его личное дело. Ну, вы даете! Артем Михалыч, вы верите в судьбу? – спросил он вдруг с интересом.

– Не морочьте мне голову!

– Охота была, – усмехнулся инженер, к которому вернулась прежняя самоуверенность и безмятежность, – я только хочу поставить вас в известность, как частное лицо, заметьте, что студент, о котором мы так мило потолковали, – это ваш сын, Артем Михалыч.

Тёма побледнел, его руки непроизвольно сделали протестующий жест, готовы были сорваться какие-то слова, но инженер торжественно и строго покачал головой.

– Артем Михайлович, мы имеем дело только с проверенными фактами. Его мать Настасья Васильевна Кованова проживала в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году в Белозерске, где вы находились в это время на практике, а весной следующего года в Воркуте у нее родился сын.

– Почему в Воркуте? – спросил Тёма побелевшими губами.

– Потому что больше она нигде и никому не была нужна. Это, конечно, ваша личная жизнь, и я ни в коей мере не собираюсь в нее вмешиваться, но мое предложение остается в силе.

10

– Я так и знал, – пробормотал Артем Михайлович, когда инженер вышел, и прижался горячим лбом к холодному дребезжащему стеклу, желая унять не то свою, не то его дрожь.

Чего-то подобного он в самом деле ждал всю жизнь!

В свое время белозерская повариха, о которой Артему Михайловичу так некстати намекнул его хорошо информированный собеседник, напрасно думала, будто ее князь был робок и тих. Кудрявый красавец Тёма был куда как боек, но только в мыслях, а при виде женского пола он испытывал примерно те же чувства, что древние греки перед троянским берегом.

Те знали, что первый из них, кто ступит на эту землю, будет убит, и потому медлили, а Тёма был неизвестно почему убежден, что первая его женщина непременно от него забеременеет и непрошеное дитя станет помехой на его великом жизненном пути.

По этой причине он отвергал одну за другой факультетских барышень, бросавших на него нескромные взоры, имел репутацию монаха, а сам ждал верного случая покончить с тяготившей его девственностью. Этот случай представился в Белозерске с тамошней дурочкой-поварихой, и Тёма думать о нем забыл. Он строил свою жизнь, удачно женился на обеспеченной хорошенькой москвичке (лучше бы, конечно, не женился, но что ему, безродному иногороднему аспиранту, оставалось делать, и не раз он вспоминал своего любимца Йозефа Кнехта, у которого, как известно, таких проблем в безбрачной Касталии не было), и кто мог подумать, что двадцать лет спустя худшие его опасения сбудутся и зачатый в первую темную ночь ребенок замаячит на его горизонте?

Он снова и снова вспоминал разговор с инженером, ходил, не замечая времени, по кабинету, и больше всего ему хотелось в эту минуту, чтобы только что состоявшийся разговор не имел места. Однако что было, то было – за грех молодости приходилось платить теперь, когда особенно важно было предстать перед недругами неуязвимым.

Артем Михайлович слишком хорошо понимал, что вздумай он теперь заступиться за мальчика, ему с радостью пойдут навстречу. Но тогда прощай, независимость, прощай, Йозеф Кнехт и Касталия, ничего у него не выйдет. Висит перед тобой, Тёмушка, крючок с аппетитной наживкой, Тёмушка его – ам! А оттуда, сверху, веселый рыболов с васильковыми глазами воскликнет: попался, который кусался? На то они и рассчитывают и как, поди, обрадовались, когда узнали, откуда этот Савватий взялся. Глазам не поверили.

Неосторожный, глупый мальчик, как же ты так подставился? И не могу я тебе ничем помочь. Нельзя мне этого, ну никак нельзя. Отчислят его или еще что похуже сделают. Это они могут, с мальчиками воевать – это их милое дело.

Тёма сжал руками голову, тер виски, но придумать ничего не мог. Такая тоска на него напала – хоть волком вой! Как могло так случиться? Вот и пробуй после этого уйти от судьбы – все равно она над тобой посмеется и настигнет, как царя Эдипа. Злобный, чужой рок. А мальчик? Что они с ним делают? Где он?

Он снова почувствовал бессилие, как в то лето, когда себе на лихо вписал Саввушку в этот список, снова мучила его давешняя мысль: порядочный человек имеет право совершить подлость не иначе как принуждаемый насилием, но к чему отнести этот случай?

Одно он знал наверняка, что звонить инженеру не станет. Сумеет себя убедить, хотя в душе ему очень захочется это сделать. И все-таки не станет, нет. А то, что парня отчислят – что ж, за ошибки надо платить, и потом опыта наберется, умнее будет. А если действительно талантлив, все равно дорогу себе найдет. Только б они его не сломали.

Артем Михайлович мучился напрасно. В эту минуту Саввушка находился вовсе не во внутренней тюрьме на Лубянке или в другом подобном месте. Он стоял, как когда-то очень давно, на смотровой площадке Воробьевых гор и глядел на Москву. Но теперь величественная

картина города не будила в нем прежних чувств. Был сырой мартовский вечер, шли ко все-нощной в маленькую церковь над обрывом реки старушки, а Саввушка был погружен в свои думы. Час назад между ним и молодым парнем с веснушчатым лицом состоялась очень странная беседа, и теперь Саввушка пытался понять, каков же ее итог.

Во-первых, ему вернули портфель, во-вторых, ему не задали ни одного вопроса, откуда, как и через кого к нему попало содержимое этого портфеля. Напротив, Саввушка и молодой человек, назвавший себя Женей, очень дружески прогуливались между двумя желто-каменными заборами церковного гетто и неспешно беседовали. Предметом их беседы были книги, которые читал Савва в последнее время, и Женя проявлял большую осведомленность об авторах этих книг.

Об иных он отзывался с уважением, о других, напротив, пренебрежительно, советовал почитать кое-что еще, какие-то вещи подтверждал, какие-то опровергал, и Саввушка получал истинное наслаждение от их беседы, даже забыв на время, кто его собеседник.

Впрочем, говорил большей частью сам Савва. На московских кухнях к нему относились свысока, и в общих разговорах он обычно помалкивал, поскольку не умел ни острить, ни ерничать, ни рассказывать анекдоты. Однако ж ему было что сказать – не даром коньком его была справедливость – и теперь он стал развивать свою давнюю любимую мысль.

– Когда вы преследуете людей, которые с вами борются, – говорил он, – я могу это понять. В конце концов, они знают, на что идут, и я тоже это знал. Но моя мать, которой в голову ни разу не приходило, что в этой стране что-то неладно, моя мать, всю жизнь работавшая как проклятая и столько лет прожившая в бараках и общежитиях, которой всего сорок лет – не видел бы ты ее! – она-то за что расплачивается? Она с чистым сердцем голосует за вас на каждых выборах и не может уехать из города, погубившего ее здоровье? Вы всех закрепили бессмысленно, жестоко, а у меня, кроме нее, никого нет, и у нее одна жизнь. Все это ваше благополучие за этими заборами – все на ее горбу выстроено!

– Видишь ли, как это ни прискорбно, так было и будет всегда, – осторожно ответил Женя. – В одной очень любопытной книжке написано, что любая власть создает и кормит элиту, на которую опирается. Другое дело, что со временем эта элита вырождается и требует обновления. Судьбы же отдельных людей вообще от этого не зависят. Будь у нас тут самое что ни на есть справедливое общество, твоя мать все равно была бы несчастна. Согласись, что гораздо больше, чем вся вместе взятая система, перед ней виноват один-единственный человек – твой отец.

– У меня нет отца, – быстро ответил Савва.

– Он все равно где-то есть, – возразил Женя, – и несет какую-то ответственность и за тебя, и за нее.

– Нет.

– Но почему? Ведь, может быть, он не так виноват перед вами, как тебе кажется.

– Ты с отцом рос?

– Да, – пожал плечами Женя.

– Тогда тебе не понять, что должен чувствовать десятилетний мальчик, когда просыпается ночью от слез матери и слышит, как она шепчет это имя. И всю жизнь одна, одна...

– Ты очень категорично судишь.

– Женя, он должен был ее найти. И хватит об этом.

– Ну хорошо, допустим, все верно, – согласился Женя. – Дело только в нас. Мы плохие, а вы хорошие. Нас надо запретить, уничтожить, чтобы все стало честно и справедливо. Но не кажется ли тебе, что твои друзья, если когда-нибудь они дорвутся до власти, сами переселятся в эти особнячки, а бараки станут еще более ветхими и больше людей будут в них жить?

– Ты не имеешь права так говорить о людях, которые жертвуют собой ради других.

– Я не о тех говорю. Я говорю о людях, которые горазды только языком молоть, а когда запахло гарью, нашли крайнего. Знали, что ячейка обнаружена, или догадывались и послали тебя. Эти никогда ничего хорошего не сделают.

– С чего ты взял, что они знали или догадывались?

– Я знаю, – повторил Женя. – Ты, Савва, когда глупеньким мальчиком был, но все таким же честным да справедливым, написал в некое учреждение письмо с просьбой, чтобы тебя послали в далекие страны революцию делать. Покажи я тебе сейчас это письмо, ты устыдишься, чего доброго. Ты теперь поумнел, с нами воюешь. А я тебе говорю, что лет через десять тебе точно так же стыдно станет, что ты этим помогал. Ты сейчас за них готов в огонь и в воду идти, но что хорошего будет, если они за твоей спиной отсилятся?

– Значит, тому быть, – хмуро ответил Савва.

– Нет, – возразил Женя, – это было бы, пользуясь твоим любимым выражением, несправедливо.

– Отчего же несправедливо?

– Потому что ты их умнее, только своим умом будешь ли ты когда-нибудь жить? Поверь мне, ты имеешь гораздо больше оснований учиться в университете, чем кто бы то ни было другой. Так что забирай портфель и ступай, Че Гевара! Только больше не попадайся.

– Подожди, – сказал Саввушка хрипло. – А что от меня за это потребуется? Докладывать время от времени, как настроение в студенческой среде? Или еще что похуже? Думаешь, я не знаю, как вы наших девочек к себе переводчицами берете, а потом иностранцам в постель подкладываете?

– Но ты же не девочка, – усмехнулся Женя. – А стукачей нам хватает. Так что иди спокойно и ни о чем не думай. И постарайся найти себе толкового научного руководителя. Сейчас для тебя это самое важное.

– Зачем тебе все это нужно?

– Просто так. Нравишься ты мне.

– Ну хорошо, – сказал Савва, на секунду задумавшись, – допустим, ты, Женя, честный и благородный человек и действуешь из каких-то высших соображений. Но не получится ли так, что завтра придет нехороший дядя, передаст от тебя привет и велит мне должок заплатить.

– Не выйдет. Видишь ли, у нас есть некоторые правила, и никто к тебе больше касательства не имеет. Прощай, а если помощь моя потребуется, вот телефон – позвони.

Женя исчез в прекрасных весенних сумерках, а Саввушка так и остался на смотровой площадке. Он думал, думал, что это значит, и вдруг напала на него какая-то тоска. Ловушка это или нет, догадывались ли ребята, что с ячейкой что-то неладно, или Женя морочит ему голову, что, наконец, в самом деле этому Жене от него надо, что сказать, откуда у него портфель, и кто поверит в то, что его так просто отпустили, – какая, к черту, разница!

Он вдруг почувствовал, что за это время произошло нечто более страшное, чем неудача с ячейкой или трусость его друзей, произошло более страшное предательство, и Саввушке сделалось от этого больно. Он снова ощутил себя безмерно одиноким с этим дурацким портфелем перед громадой университета, снова захотелось ему куда-то уехать, и не волнение, а печаль навевали на него огни за рекой.

Саввушка брел по набережной, потом сел в троллейбус, доехал до общежития и почувствовал, что ноги не несут его ни в какое иное место, как в комнатку на десятом этаже.

– Пришел? – спросила Ольга насмешливо, но, приглядевшись, отступила на шаг. – Что это с тобой? Портфель у тебя какой смешной.

– Грусть-тоска меня съедает, – пробормотал Савва, – можно я у тебя посижу немного?

– Ну вот, – сказала она с укором, – то не было его чуть ли не пол года, то здрасте: грусть-тоска. Чего пришел-то тогда?

– Неохота мне никуда идти. И портфель этот пусть у тебя полежит.

– Пусть. Да и ты оставайся, пока я одна. Ну что уставился? – покраснела она. – Лучше подумай, где мы жить с тобой будем.

В это же самое время измученному нравственными терзаниями Артему Михайловичу позвонил домой инженер.

– Я с хорошей новостью, – пророкотал он, – Савва будет учиться.

Декан хотел возразить, что он ни о чем не просил и это его, инженера, собственная инициатива, а он никакого отношения ни к каким студентам не имеет, но вместо этого прикрыл трубку рукой и проговорил:

– Простите, а вы не могли бы мне сказать, он...

Тёма замялся, и инженер, как заметил бы Бальзак, человек светский до мозга костей, усмехнулся:

– Не беспокойтесь. Он про вас ничего не знает.

– Могу ли я попросить, чтобы и впредь...

– Как вам будет угодно, – безмятежно ответил голос на том конце провода.

В доме был большой прием, Смородин вернулся к гостям и с ненавистью посмотрел на критиков и критикесс, пьющих чай с булками, еще не разметенных по разным углам литературного ринга и мирно толкующих о проблемах бытия и быта, жанров и стилей.

«Неужели все рухнуло?» – подумал он с тоской.

И словно отвечая на его немой вопрос, один из критиков ни с того ни с сего задумчиво произнес:

– Нет, господа, в нашей дикой стране тысяча лет еще пройдет, пока что-то изменится к лучшему. Верно, Артем Михайлович?

11

Однако ж, что бы там ни говорили умные люди, месяца два спустя факультет словесности охватила паника. Загадочный, до той поры чего-то выжидавший декан приступил к действиям. Он начал с того, что заменил все стекла в кабинете, так что больше они не дребезжали, а закончил тем, что заменил нескольких заведующих кафедрами и отправил на пенсию наиболее слабых преподавателей, так что задрожали все остальные. Время было смутное, Смородин вел себя решительно, и роптать никто не посмел. В декане чувствовалась неожиданная сила.

Те могущественные люди, которых Тёма покуда не трогал, но одного движения пальцем которых еще год назад было бы достаточно, чтобы смешать его с книжной пылью, сидели и не высовывались. Артем Михайлович ходил по факультету, как царь Петр среди бояр, и драл бороды.

Потом на общем собрании своих подчиненных он объявил царскую волю. Отныне под его личный контроль бралось все: вступительные экзамены, распределение, аспирантура, защита диссертаций и заграникомандировки.

Никто из преподавателей не имеет права давать частные уроки абитуриентам, поступающим в университет, и всякий, кто будет в этом замешан, будет уволен незамедлительно. Отныне ни одна липовая диссертация в этих стенах защищена не будет, никто не будет принят на факультет или зачислен в аспирантуру в обход общих требований.

Тёму выслушали в гробовом молчании и, подавленные, разошлись. Это был его звездный час – он расплатился за все сполна. Но никому в голову, кроме одного-единственного человека, не могло прийти, что настоящей радости одержанная победа декану не принесла.

И дело было даже не в том, что он должен был сверять с этим человеком все свои шаги. Инженер никогда не преувеличивал своей роли и не стремился унижить своего партнера. Напротив, все делалось в высшей степени деликатно, и уже если говорить о пользе дела, то без этого человека Тёма только б наделал ошибок.

Артема Михайловича подкосило другое, и инженер с присущей ему пронизательностью это понял, задав однажды вопрос, попавший в самое яблочко.

– Кстати, все хочу спросить, а как поживает Алексей Константинович?

– Барятин? – пожал Тёма плечами. – Понятия не имею.

– Ведь вы правы были тогда. Напрасно старика выгнали. Нам бы извиниться перед ним да попросить вернуться.

– Вот и извинились бы.

Этот разговор был Артему Михайловичу в высшей степени неприятен. Тот человек, ради которого все было затеяно, кому давно уже торжествующим голосом передал Артем Михайлович приглашение возглавить кафедру древней словесности и взять на нее кого он пожелает, отказался вернуться на факультет. И отказался как-то обидно, даже не утрудив себя выдумать причину. Просто «нет» сказал, и все. И добавил в коротком разговоре, не впустив Тёму в квартиру:

– Факультета больше не существует. Вы его добились.

Для Артема Михайловича это было равносильно пощечине. Он сбегал вниз по заплыванной лестнице, сначала даже не осознав, что произошло. А потом, присев в пустынном дворе, где сгребал листья дворник в драной телогрейке и распивали бутылку двое алкашей, вдруг подумал, что всю жизнь завидовал своему учителю за те легкость и бесстрашие, с какими он живет, за то, что он никогда не цеплялся ни за положение, ни за славу, а нес их в себе и ни перед кем не унижался. А вот его ученик, даже став деканом, как был, так и остался лакеем. И потому сидит в его кабинете голубоглазый мерзавец, чье присутствие здесь так же отвратительно, как если бы речь шла о супружеской спальне.

Это было настолько пронзительное и тяжелое чувство, что в какой-то момент Тёме захотелось опять все бросить, устроиться где-нибудь обыкновенным школьным учителем и тем самым вымолить у графа прощения – он завидовал в эту минуту всему свету, даже этим алкашам и дворнику, – но недаром когда-то Артема Михайловича поставили деканом, он был человеком сильным и лишь усмехнулся: «Рано тебе еще, Йозеф». Однако твердо решил, что либо он преодолеет свою зависимость от Барятина, освободится от него и забудет наконец, как забыли о нем почти все, либо не будет ему покоя и вечно станет мучиться душа сожалением и тоской.

Что ж, ученики перерастают учителей, и теперь его, Тёмины, лекции записывают на магнитофон, теперь ему дарят цветы и аплодируют, и теперь у него есть собственный семинар и ученики. Став магистром словесности, Артем Михайлович твердо решил блюсти первую касталийскую заповедь: забудь обо всем и займись элитой. Он устроил для желающих заниматься в его семинаре жесткий конкурс, отбирал себе самых способных студентов, и все мало-мальски честолюбивые любители словесности мечтали туда попасть.

Он сделал это еще и потому, что в какой-то момент понял, что весь факультет сразу изменить ему будет не по силам. Все равно будет блат на экзаменах, все равно всех бездарей не уволишь, но здесь был его университет в университете. Здесь всех должны были объединить бескорыстная любовь к истине и талант. Слухи о его семинаре ползли по Москве, и Артем Михайлович мог вполне им гордиться. Он растил элиту, растил тех, на кого собирался опереться, и давал им понять, что именно они останутся в первую очередь в университете, пойдут в аспирантуру и на кафедры. Пойдут не потому, что за них кто-то просит или же он сам к кому-то питает пристрастие, и только для одного человека он был готов сделать исключение.

Зато время, что прошло после столь памятного декану разговора с его загадочным советником, в душе Артема Михайловича случилась странная метаморфоза. Если поначалу он все-речь опасался, что инженер не сдержит слова и на пороге кабинета в один прекрасный день появится долговязый лоботряс, от одной мысли о чем Тёму бил озноб, то теперь отношение Смородина к тому обстоятельству, что у него есть сын, стало меняться.

Артему Михайловичу исполнилось в ту пору сорок лет, и хотя он был по-прежнему полон сил, выглядел молодо и свежо, хотя его ждало блестящее будущее, он почувствовал, что переступил определенный рубеж, и теперь пришло время смотреть не только вперед, но оглянуться назад. Именно тогда он внезапно остро ощутил, что значит для него этот случайно принятый им мальчик.

Уже смирившийся с тем, что он не оставит миру потомства и на нем заглохнет славный род тульских интеллигентов Смородиных, Тёма любил саму мысль, что у него есть сын. Это согревало его и придавало некий смысл всей его нынешней деятельности. Теперь, потеряв графа, он мог утешить себя тем, что все, что он делает, он делает для сына.

Однако Артем Михайлович решил не открываться перед ним сразу, а приблизить для начала юношу к себе, стать для него учителем, явить себя во всем блеске и великолепии, очаровать, как очаровывал и покорял он многих, и уж потом, когда Савва и сам того будет страстно желать, подарить всю правду о его происхождении. Но когда он объявил о наборе в свой семинар и в числе многих записавшихся стал искать сына, того в списке не оказалось. Декан удивился такой неприятности и велел его разыскать. Однако посланец Артема Михайловича вернулся с поразительным известием: Савва исчез. Уже несколько месяцев он не появлялся на занятиях, не жил в общежитии, и даже соседи по комнате о нем ничего не знали. Все его документы в полном порядке лежали в учебной части, кто-то из студентов сталкивался с ним изредка на факультете, и, что все это значит, декан понять не мог. Он смутно догадывался, что к таинственному исчезновению юноши, скорее всего, причастен инженер, но идти к нему с этим вопросом Артем Михайлович ни под каким видом не хотел. Он находился все время в каком-то подвешенном состоянии, мысли о сыне мешали ему сосредоточиться и заняться

делами, а между тем произошло то, чего не ждали, хотя ожидать этого следовало – страна опять погрузилась в трехдневный траур.

На смену загадочному вождю, наводнившему державу страхом, оставившему после себя ценный теоретический труд «Учение Карла Маркса» и знаменитую водку, которую долго еще будут помнить благодарные подданные, – забудут все, но зеленая этикетка и милосердная цена четыре семьдесят навсегда останется в их памяти, – итак, ему на смену пришел ядреный старичок с пухлыми щечками, и черненько стало в государстве Российском. На факультете принялись гадать, как скажутся на них эти перемены, инженер подозрительно затих, и в какой-то момент Артему Михайловичу показалось, что вся эта история ему приснилась и нет у него никакого сына, как однажды Саввушка сам вошел в его кабинет и нерешительно остановился на пороге.

Ему было в ту пору без малого двадцать лет. Он был высок, худощав и мало походил на отца, разве что глаза и широкий лоб были у него такими же, как у Тёмы.

Сморозин глядел на сына, не в силах вымолвить ни слова, и с самой первой минуты их свидания его не покидало ощущение, что он уже где-то видел это лицо. Он сделался печальным и строгим, и вошедший оробел, ожидая, что декан станет ругать его за прогулы, но Артем Михайлович, даже не задав традиционного вопроса, зачем пришел к нему на прием студент, стал рассказывать про свой семинар. Рассказывать так, как если б он отчитывался на Страшном суде перед Господом Богом.

Саввушка растерялся: наводивший ужас на студентов декан был сам на себя не похож.

Наконец он остановился, и Савва пролепетал:

– Да, но я хотел бы заниматься в другом семинаре.

– В каком же? – удивился Артем Михайлович, ибо странно было подумать, что на факультете есть нечто, могущее с ним конкурировать.

– Я, собственно, затем и пришел. Дело в том, что учебная часть не дает согласия.

– Она даст, если ты будешь настаивать, – щедро улыбнулся Тёма. Его сердце всколыхнулось, и ему захотелось теперь уже, в эту самую минуту, отбросить разделявшую их дистанцию, подойти и положить руки на эти юные сильные плечи. – Так что же ты выбрал, Савва?

Какие же удары готовит человеку иной раз судьба! Почтище, чем когда-то Саввушке перед пустой ячейкой на Ярославском вокзале.

– Я хочу заниматься, собственно, я уже занимаюсь у профессора Барятина.

– У кого? – выдохнул Тёма, подаваясь вперед.

– У Алексея Константиновича Барятина. Вы, может быть, помните, он тут раньше работал.

– Откуда ты его знаешь? – спросил похолодевший декан.

– Мы с ним соседи, – улыбнулся Саввушка, и Артем Михайлович вспомнил: конечно же, именно этого парня в телогрейке и с метлой в руках он видел во дворе барятинского дома в самый горестный для себя день.

12

В те давно прошедшие, прекрасные времена среди студентов университета считалось хорошим тоном зарабатывать на жизнь не фарцой, как ныне, а заниматься благородным трудом дворника, сторожа или истопника. И Саввушка, чья жизнь таким чудесным образом переменялась, но зато и потребовала от него сразу столько нового, ступил на эту славную дорожку.

Мальвина его благословила, и всю осень он бродил по Москве, пытаясь где-нибудь устроиться дворником, с тем чтобы получить работу и служебную комнату, но ему всюду отказывали. Во время этих блужданий он наконец узнал и полюбил этот город, и теперь это были не кубики домов, едва различимые с Воробьевых гор, у него появились любимые улочки и дворы, дома, возле которых можно было подолгу стоять, бесцельно глядеть на окна, но легче от этого не становилось. Бесприютность угнетала его, Ольга даже перестала спрашивать, как дела, и махнула на незадачливого возлюбленного рукой, он давно потерял всякую надежду и ходил просто так, полагаясь на чудо, и однажды дождливыми октябрьскими сумерками возле него притормозила машина, и оттуда вылез улыбающийся парень.

– Женья? – изумился Саввушка, и у него неприятно засосало под ложечкой.

Но Женья был весел и непринужден, а Саввушка, напротив, находился в отвратнейшем расположении духа и рассказал о своих злоключениях.

– Я ж тебе говорил, надо будет что – звони. Давно бы уж метлой махал.

Никакого значения этому разговору Саввушка не придал и звонить никуда не стал, но через неделю Женья отыскал его сам и сказал, что знает местечко в центре.

– Где? – недоверчиво спросил Саввушка, облазивший весь центр.

– На Кропоткинской.

– Территория ЖЭКа номер пять Ленинского района, – хорошо поставленным голосом ответил Савва, – начальник – Валентин Никифорович Собакин – ветеран партии и редкостная сволочь. Выгнал меня в зашей и сказал, что все студенты университета – лодыри и антисоветчики и он скорее в дерьме потонет, чем кого-нибудь возьмет.

– Ну в общем-то он прав, – усмехнулся Женья, – студенты ваши не подарок. Но ты все-таки попробуй – у него там текучка большая.

Саввушка попробовал, и на сей раз ветеран встретил его как отец родной. Самолично показал участок, распорядился насчет инвентаря и зарплаты, но самое главное, он показал дворнику его квартиру – не комнату! – и голова у Саввушки пошла кругом. В тот же вечер они с Ольгой уехали из опустылевшей общаги, не сказав никому ни слова.

Это была огромная квартира с невообразимо высокими потолками, пятью комнатами, кухней и черным ходом. В одной комнате они устроили спальню, в другой гостиную, в третьей – кабинет, что делать еще с двумя, просто не знали и ходили в гулкой тишине, не веря своему счастью.

С потолков на длинных шнурах свисали люстры, и их света не хватало на то, чтобы полностью осветить помещение, так что потолки терялись во тьме. Большая часть дома пустовала, в нем жили только какие-то странные, чудом уцелевшие люди, а в пустых квартирах ночами собирались бродяги, хиппи и алкаши. Но они вели себя мирно, с жильцами не ссорились, и сам этот дом посреди Москвы являл собой зрелище поразительное, как осколок какого-то иного мира.

В громадных брошенных квартирах стояла невывезенная мебель, жестяные коробки из-под сахара и муки, резные этажерки, кресла с потертой обшивкой, круглые столы, диваны, точно мода на старинные вещи сюда каким-то чудесным образом не дошла, и уезжавшие на окраины люди не задумывались об истинной ценности того, что они покидают. Родившийся в

городе, где не было ничего старинного, Саввушка с каким-то волнением ощущал многолетие этого дома и этих вещей. Самое лучшее Мальвина отобрала хозяйским глазом, и ночью вместе с алкашами Саввушка перенес диван, стол и несколько кресел к себе, так что их жилище стало напоминать барские покои прошлого века.

– Что-то уж больно все это странно, – бормотала Ольга, недоверчиво глядя на Савву, – и поступил ты как-то не так, и из университета тебя до сих пор не выгнали, квартира эта, наконец. Хотела бы я знать, кто еще из дворников живет в таких хоромах?

– Судьба, – отвечал Саввушка, чье мужское самолюбие теперь было полностью удовлетворено.

– Странная у тебя какая-то судьба. Послушай, ты никогда не говорил мне, а кто твой отец?

– Понятия не имею, – сказал Савва и слукавил. На самом деле этот вопрос с некоторых пор стал сильно его занимать. Он чувствовал, что с его происхождением связана какая-то история, здесь что-то было не вполне ясно, однако спросить об этом было не у кого – тревожить мать Саввушка не хотел и ждал случая. Он уже знал тогда, что в жизни не надо ни к чему нарочито стремиться – все придет само собой в свой час.

Зима в тот год началась рано. В середине ноября помели снега, и работы стало много. На тротуарах снег быстро затвердевал, и лед приходилось часами скалывать ломом. Если снег выпадал с вечера, Саввушка шел убирать еще ночью, пока его не вытоптали утренние прохожие. Университет он совсем забросил и куда больше боялся, что его выгонят из дворников, чем из студентов. В это же время он познакомился с одним из жильцов дома – с высоким стариком, чью фамилию случайно услышал от знакомого алкаша.

– А это, брат, граф Барятин, – сказал алкаш. – Добрый старик. Как ни придешь за стаканчиком – никогда не откажет.

– Барятин, – повторил Саввушка задумчиво и вспомнил напутствия матери. – А он профессор?

– Какой еще профессор? – рассердился алкаш. – Я тебе говорю – граф.

Старик иногда выходил во двор, с дворником он всегда здоровался и шел в ближайший магазин за кефиром и хлебом, но даже допотопная авоська в его руках казалась чем-то почтенным, и неторопливо шествующий с посохом по двору он внушал благоговение.

Долгое время Саввушка не решался к нему подойти, но однажды, пересилив смущение, приблизился и робко спросил:

– Простите, а вам ничего не говорит имя Настасьи Васильевны Ковановой?

Старик задумался, потом пристально поглядел на юношу и отчетливо произнес несколько скрипучим голосом:

– Если мне не изменяет память, так звали одну очень славную женщину, с которой я имел удовольствие познакомиться когда-то в Белозерске.

– Это моя мама, – пролепетал Саввушка, убитый внезапной мыслью, что в этой телогрейке и с лопатой в руках он выглядит форменным пролетарием и каким же надо быть нахалом, чтобы побеспокоить столь почтенного человека.

Однако старик оживился, и его хмурые глаза потеплели:

– Вот как? Где же она живет теперь? Я ведь пытался ее тогда разыскать.

– В Воркуте.

– Мне кажется, это не самый удачный переезд, – пробормотал старик, вздрогнув. – Во всяком случае, мне это место знакомо не с лучшей стороны.

Но этих слов Саввушка уже не расслышал. Название города «Белозерск» произвело на него какое-то странное впечатление, он точно что-то вспомнил, расслышал в своих детских воспоминаниях и спросил:

– Вы случайно не знаете, кто мой отец?

– Нет, – ответил Барятин односложно и, помолчав, добавил: – Вы, юноша, не откажете мне в любезности, если я приглашу вас сегодня ко мне зайти?

– Нет, – сказал Артем Михайлович, – очень сожалею, но я не могу позволить вам заниматься у человека, который давно уже нигде не работает.

– Но почему? – воскликнул Савва. – Какая вам разница? Он же знает все равно больше, чем любой из здешних профессоров.

– Нет, – повторил Тёма, – существует порядок, и я должен его придерживаться. Я вам предлагаю, молодой человек, гораздо лучшее, и мне странно, что вы не хотите этого оценить.

– Я думал раньше, – сказал Савва дрожащим голосом, – что вы мне не откажете. Все говорят, что вы справедливый человек, а вы просто чего-то боитесь. Если я не получу разрешения, то заберу документы.

Он ушел, и Артем Михайлович по старой своей привычке прижался горячим лбом к холодному и не дребезжащему больше стеклу. Бог ты мой, что за проклятье над ним тяготеет и почему повсюду его преследует этот наверняка выживший из ума старик, отнявший когда-то покой и радость собственных удач, а теперь отнимающий сына. Нет, пусть лучше он действительно заберет документы и исчезнет навсегда, чем станет выматывать душу. Пусть исчезнут они оба.

Дверь снова отворилась, и в кабинет вошел инженер.

– Ну что вам еще? – спросил Тёма грубо.

– Артем Михайлович, мне только что попался в коридоре наш общий знакомый. Он был, кажется, чем-то сильно расстроен.

– А вы караулили, что ли?

– Нет, – пожал плечами инженер, – у меня просто хорошая память на лица.

– Вот и шли бы вы со своей хорошей памятью шпионов ловить!

– Артем Михалыч, – сказал инженер, не обращая внимания на раздраженность декана, – я догадываюсь, о чем просил вас юноша, и полагаю, никаких оснований отказывать ему нет.

– Да вам-то что? – взорвался Тёма. – Что вы вечно суете нос куда не просят? Это мое дело, понимаете, мое.

– Было б это только ваше дело, я бы и не вмешивался.

– Все равно, – повторил Тёма упрямо, – согласия своего я не дам.

– Артем Михайлович, – усмехнулся инженер, – хотите, я вам сказку одну напомним. Подарили одному человеку сундучок со всяким добром и велели раньше времени не открывать, чтоб добро его не разбежалось. А он не послушался – открыл, а как собрать, не знает. И помог ему другой человек, а за это потребовал помните что?

– Послушайте, – простонал декан, – вы мне с вашими шутками – вот уже где сидите! Ну, объясните вы мне, что вам нужно? Мы что, ракеты производим, подводные лодки строим, тайны храним государственные? Что вы тут вообще делаете? Оставьте мне хоть что-то!

– Давайте так договоримся, – ответил инженер уклончиво, – мы вашу просьбу выполнили, выполните и вы нашу. И позвольте дать вам один совет. Я вашего сына немного знаю, хоть и заочно, и уверяю вас: так вы ничего не добьетесь – только хуже сделаете. А вот если уступите, он ваше великодушие оценит. Не сейчас, так позже.

– Что же, – произнес Тёма с горечью, – стало быть, мало вам меня, теперь еще и Савва потребовался. Тогда совет за совет. Напрасно вы его к Барятину отпускаете. Ничего у вас потом не получится.

– Вы нас недооцениваете, – засмеялся инженер и вышел.

13

И для Саввушки наконец начался настоящий университет, так же сильно отличавшийся от того, куда он ходил прежде, как этот дом отличался от общежития. Он приходил теперь с утра, убрав участок, в барятинскую библиотеку, и старик часами рассказывал ему о том, о чем когда-то говорил в переполненных аудиториях. Дом был полон книг, те, что не помещались на полках, лежали на полу в каком-то невообразимом беспорядке, но профессор моментально находил нужную, и Саввушка читал до посинения.

Перед ним открывался какой-то иной мир. С каждой новой книгой, с каждым днем шаг за шагом он погружался в зыбкую древность, и из отъявленного шалопаю мало-помалу стал превращаться в закоренелого любомудра и книжника. Он и сам не подозревал в себе такого сильного, ненасытного желания как можно больше понять и узнать. В нем точно проснулась та детская, казалось, совсем угасшая способность учиться легко и играючи, и даже профессор поражался тому, с какой страстью и скоростью учил его ученик древние языки, копался в летописях, что-то сопоставлял, задавая все новые и новые вопросы и пытаясь сам найти на них ответы. Все было интересно ему, бередило ум и душу, и огромная, до этого совсем неизвестная страна с ее веселым и спокойным народом, с тысячью ее монастырей и городов, с плавной сменой месяцев и лет, прерываемых войнами и голодом и снова возвращающихся к мерному ходу, стала его родиной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.